

Иван ПЫРКОВ

БЕКЛЕМИШЕВСКИЙ ОСТРОВ

П о в е с т ь

*Посвящается памяти моей мамы —
Нэли Даниловны Васильцовой*

Часть 1. ДЕБАРКАДЕР

На б́арже

Поначалу я даже не поверил, что такая огромная, неповоротливая посудина поплывет по Волге. И мне было боязно, признаюсь, ступить на трап и сделать первый шаг. Но все торопились, шли весело, и уверенность пассажиров, их какая-то взволнованная приподнятость приподняла и меня над трапом. И вот я уже нерешительно пробую ступить на самую настоящую пассажирскую баржу. И чуточку уже горжусь начальным своим робким шажочком.

Еще бы: я на волжской барже и вот-вот мы отправимся на неизведанный Зеленый остров. Первый раз в моей жизни! А людей-то вокруг невидимо, скамеек не хватает для всех, и многие просто весело размещаются на брусчатом настиле. Я заметил, что кое-где между досками прорастают зеленые травинки. Видно, «старушка» бороздила реку не один десяток лет.

Палуба баржи широченная, как спина былинного богатыря. От нее веет надежностью и основательностью. А еще слышать, как она дышит, мерно приподнимаясь и опускаясь, следуя за волжской волной.

Но вот торжественно и басовито возвестил о скором отплытии гудок, были отданы швартовы, и баржа, вволю потеревшись громадным боком о причал, как бы нехотя начала свое движение. Отец, человек наблюдательнейший и всегда учивший меня «не разевать карку» и «не считать ворон», кивнул головой в сторону капитанского мостика — смотри, мол. Там, на возвышении, за штурвалом стоял очень полный человек, гордо, но уважительно глядя на воду. Это на пассажиров,

скорее, он смотрел чуть свысока, с законной, так сказать, гордостью. Одет он был в просторную тельняшку. Колоритный был на нашей барже капитан, что и говорить. Фигура. Личность. Портрет. Он, бывало, и обедал, не отлучаясь со своего капитанского места во время недолгих стоянок. На обед у капитана нашего густо дымился борщ со сметаной, похрустывал ржаной хлеб со стрелками зеленого лука и пенился квас в запотевшей бутылки. Капитан словно бы сросся с баржей и сам, кажется, внешне походил на нее.

Когда мы очутились на фарватере, неповоротливое у берега судно наше как-то вдруг разогналось, половчело, попав, что называется, в родную стихию, и довольно-таки лихо принялось лавировать между въякорившимися в русло реки лодками бесстрашных лещатников. Ох и много же их стояло тогда на фарватере: резиновых лодчонок, утлых плоскодонок, основательных «казанок»! Капитан только и делал, что давал короткие, сердитые гудки. Но все шло своим чередом, Волга жила своей привычной, размеренной жизнью. И ритму этого голубого пульсара следовала жизнь береговая. То тут, то там дымились рыбацкие костерки, босоногие мальчишки бежали куда-то по песчаной косе, лучистые солнышки флюгеров всходили над деревянными крышами. Идиллия? Она самая. Но иногда этого не хватает. А может, и всегда. Чем-то обжитым, обихоженным, уютным веяло даже от обрывистого правого берега. На Волге ведь, знаете ли, принято говорить с некоторой даже, неизвестно отчего берущейся гордостью:

— Ну, мы же ведь на Правобережье.

Или коротко:

— Левобережье.

(И без объяснений все ясно.)

Или еще проще и лучше:

— Где-где? Не знаешь, что ли, — на Левяке живу.

Да, чувствовалась в этом неторопливом течении речи некая постоянная величина. А может быть, чувство устойчивости передавалось нам самой баржей? Может, баржа и была величиной постоянной? На барже — звучит остойчиво.

Пару лет после, когда я уж знал «в лицо» чуть не каждую выбоинку деревянной палубы, поскольку мы с отцом принялись при любой возможности рыбачить на Зеленом, таскаться по его песчаным косам, шататься по озерам-заливам, бомжевать в сторожках, довелось мне стать свидетелем любопытного эпизода из жизни старой баржи.

Представьте: теплый августовский вечер. Начинает смеркаться. Бакены умиротворенно перемигиваются зелеными и красными огоньками. Ветер, шумевший днем, стихает и опадает, позволяя воде стать зеркально-тихой. И по этой стихшей, заснувшей почти реке, рассекая воду широким носом, движется наша старая знакомая. Люди, с цветами в руках, загоревшие и обветрившиеся за просторный августовский день, тоже чуть стихли — кто неторопко беседует о чем-то с напарником по рыбалке, кто просто лежит на палубе и смотрит на первые загорающиеся звезды. Кто винцо открывает — куда ж без глоточка красненького? Кто

жабает одну за одной, обманно-равнодушно глядячи на воду, но под-размысливая, конечно же, о своем. Девчонки лыбятся — конечно, кра-савицы, конечно, поглядываю в их сторону то и дело, конечно, сердце бьется сильнее! Особенно когда встречаюсь глазами, даже хотя бы на четверть секунды, с той, в синей коротенькой юбке. Волга, она ведь женского рода...

Просто мирная жизнь. Просто счастье. Просто люди. Как это важно, оказывается, как ценно — просто люди... И вдруг, словно бы из самой тишины, — голос и дрожь гармонии:

Настанет день красы моей,
Увижу белый свет.
Кругом вода и небеса...

Старинная песня рыбаков. Странная. Откуда она вспомнилась? Кому? Зачем? Отправляются вечные водные странники на промысел, бросают берег, говорят о том, что видят и отчего болит сердце. Резану-ло тогда, оглушило. И что бы потом ни случилось в моем бытѣ, будь то радости или горести, удачи или подвохи-мели, я всегда помнил этот голос, будто бы голос самой реки, самой воды, эхом доносящийся до меня сквозь... Хотел сказать «сквозь время». Время, время... Да нет, ну его совсем... Просто сквозь тот, линзовый вечерний волжский воздух.

Что стало теперь с тем гармонистом, кто сможет сегодня подхва-тить эту песню, где ты нынче, наша славная, громадная, непотопляемая, наша родная зеленоостровская баржа? Где ты, корыто наше, калошенька наша полуразваленная и полувечная?

Но все это потом, потом будет предъявляться памятью, спраши-ваться ради ответа или ради молчания. Да и важно ли — ради чего. И вообще — какого ради? Потом. А сейчас солнце над Волгой открытое, низовой ветерок веселый и чуточку по-утреннему зябкий, и чайки ловят на крыло солнечные блики, и мы приближаемся с отцом к неизведан-ному, манящему, зовущему Зеленому острову. Первый раз в жизни!

Даже дух захватывает!

Дебаркадер

Зеленоостровский дебаркадер всегда виднелся издалека.

Сначала на фоне золотой песчаной косы появлялось темное пятныш-ко, потом становились различимы контуры домика на воде, с дымком из трубы, а уж после, когда баржа или домик подходили поближе, можно было рассмотреть даже узоры на занавесочках — два окошка в любую погоду смотрели на воду, будто бы ожидая гостей. Обычно пассажиров приветствовал веселый коренастый шкипер, в грубом, с высоким гор-лом свитере и бескозырке. Звали его Алексей. Перед тем как принять трап, он обязательно делал раздольный, пригласительный жест рукой и провозглашал: «Вас приветствует Зеленый остров!» А когда пребывал в особенно хорошем настроении, добавлял еще несколько восклицаний.

Видя, например, спиннингистов, широко разводил в стороны руки и улыбался: «Да здравствуют щуки и судаки!» Поборников же тихой охоты встречал лукавой поговорочкой: «По грибы не час, и по ягоды нет, так хоть по сосновы шишки!» И добавлял размашисто, словно веслом загребая:

— Эх, тудыть вас растудыть в вóложку, сколь народу приташилося!

Слушайте, как же я мог забыть! Еще он звонил в маленький медный колокол, который речники называют гремком. Ну гремок, гремочек. Не слышали разве? Такой имелся на каждом дебаркадере, перекочевывал туда с палуб больших пароходов. На гремке зеленоостровского дебаркадера отчетливо виднелись большие буквы: СПАРТАК. И, приближаясь к Зеленому, народ привычно прислушивался: оповестит ли об их прибытии и в этот раз знакомый гремочек? Оповещал исправно.

Как-то баржа наша, подходя уж к дебаркадере самому, попала в стену жуткого июльского ливня со страшенной грозой. Пассажиры заметались, заплакали дети, в метре от себя ничего нельзя было различить в бушующей стихии. Капитан остановил ход полностью, мы застыли, отдавшись на милость водной стихии. Вода над нами и вода под нами — я не испытывал больше в жизни такого восторженного страха. В такое мгновение ты вдруг понимаешь, сколь мал и сколь зависим. Люди, как водится в таких ситуевинах, проявляли себя по-разному — кто-то закрывал от дождя детей, кто-то нервно смеялся, а один молодой человек спрашивал у своих соседей по месту на барже: «Извините, а баржа может переполниться водой?» И потом: «Скажите, пожалуйста, а какова грузоподъемность данного судна?» И в таком духе: «А остров не может уйти под воду?»

— Да ты совсем осудачёл! — привел его в чувство кто-то из матросов. — Три капли упало, не потонем!

А хорошее словцо — «осудачёл»! Много чего выражающее.

Отвесный дождь, как и начался, закончился мгновенно. Не улыбкой радуги во все небо, нет. Но все ж каким-никаким просветом. В секунды стало светло, и я увидел рыболова, стоящего в воде на волжской косе по пояс и меланхолично перебрасывающего удилище. Он, промокший до нитки сверху (хотя какие там нитки — всего лишь бескозырка, завязанная на животе рубашка), как будто и не заметил, что прошла буря, он смотрел только на поплавок, не обращал ни малейшего внимания ни на какие молнии. И самое удивительное, что в углу рта его дымилась, неподвластная бурям и ливням, папироса... А что, может, и нужно иногда уметь быть таким в жизни: не обращать внимания на второстепенные вещи, не отвлекаться на пустяки, сосредотачиваться на главном. И что, в таком разе, может быть важнее, скажите мне, бегущего по волжской воде поплавка?..

Но вернемся на дебаркадер. Чего только тут не было! Две-три вязанки дров, рукомойник, обрывки сетей и, собственно, специальные крючки, чтобы сети эти вязать да ладить, верши, лодочные стлани¹,

¹ Стлань (слань) — съемный настил на днище лодки.

вялящаяся сорога — настоящая провесная рыба, сквозь которую лучится доброе осеннее солнышко, весла, якоря разной тяжести и формы, багры, несколько трапов; конечно, спасательные круги, шесты для промера глубин... Даже будка с собакой. Собаку звали почему-то Титан.

Внутри дебаркадера довелось мне побывать лишь однажды. В очередную яростную летнюю грозу шкипера укрыли нас с отцом, зарыбачившихся, от дождя и молний. В углу этого водного пристанища, среди тряпок, рваных одеял, поломанных бамбуковых удилиц и всякого хлама я заметил что-то вроде потрескавшегося стеклянного цилиндра. Вспышка молнии так и отразилась в помутневшем от времени стекле. Оказалось, это часть старинного бакена. И Алексей, наливая чай в жестяные кружки из прокопченного чайника, рассказал о том, как он был, еще в молодости, бакенщиком. Но об этом разговор отдельный.

Островная жизнь кипела вокруг дебаркадера. Приплывали и уплывали лодки, причаливали пароходики, собирались завсегдатаи острова. Все знали друг друга по именам или в крайнем случае островным прозвищам. Шкипер Алексей, перевозчик дядя Гриша (кто ж из настоящих волжан, коренных волгарей не помнит его?), лодочник Вениамин Петрович, островитянин Цыган, капитан дальнего плавания Савельев, билетерша тетя Люда — добрейшая синеглазая женщина с тихим голосом. «Теть Люд, здрасьте! Два взрослых и один детский!» — выпаливал я, запыхавшись, и, прежде чем убежал с бирюзовыми билетиками к родителям, неизменно слышал: «Вот, Ванечка, держи, рада тебя видеть».

Тетя Люда ко всем постоянным пассажирам обращалась поименно. Когда пароходик или баржа отчаливали от дебаркадера, она выходила из своего как бы вросшего в песок киоска, приютившегося в тени старого тополя, и махала кому-то неведомому рукой. Всех ждала и всех провожала. Диалоговое окошко ее будки было всегда открыто.

Она воспринималась неразрывно с водой и песком, с опадающими листьями. «Посидите у меня в тенечке, тут прохладно», — приглашала нас с отцом в июльский зной. «Погрейтесь, в киоске тепло», — звала в октябрьскую непогоду. И вот ведь что удивительно: когда мы прибывали первым рейсом, она уже была на месте, киоск ее был открыт. Значит, кто-то из лодочников переправлял ее на Зеленый? Или она так и жила на острове? Весной ее лицо казалось молодым и веселым, поздней осенью — немного грустным. Почему она мне так запомнилась, почему ее тихий голос не смогло заглушить ничто другое — громкое и бессмысленное?

Настала весна, когда омик² причалил не к дебаркадеру, а к чугунному, холодному, какому-то диковатому и совершенно безжизненному пирсу. Не прозвенел над Волгой меднобокий гремок, никто не поприветствовал нас шутками-прибаутками. Отчаянный рыболов не зашел флегматично по пояс в воду. А от билетного киоска остался только проржавевший за зиму остов, который долго еще напоминал всем о синеглазой доброй женщине, всех ждущей и всех провожающей...

² Омик — теплоход марки ОМ.

Иногда он снится мне, зеленоостровский дебаркадер. Я вновь приближаюсь к нему откуда-то издалека, различаю надпись: «ЗЕЛЕНЬЙ ОСТРОВ», узнаю знакомые силуэты шкиперов, осторожно ступаю по узенькому трапу, огибаю кнехты и оказываюсь внутри водяной избушки.

И слушаю рассказ настоящего волжского бакенщика.

Рассказ старого бакенщика.

«Тудыть вас растудыть в воложку!...»

— Зеленый остров-то не таким был. Он ведь большой, лесистый. А косы какие! Вон там и там, где теперь только вода, деревья коренились. А там избушка моя стояла. Давно на дне она оказалась. И русло петляло по-другому. Оно как бы раздваивалось, разбивалось об остров. На стрежне ни на каком якоре не устоять — снесет! Вода быстро в Волге бежала, не то что теперь — болото! Да, так вот бакенщики всегда искали суводь — место на реке потише, где течняк не бурлит или где течение вообще обратно идет, чтобы бакены-то не уносило.

Вот ты про фонарь спросил. А сколько маялись мы с фонарями этими! Мы называли их створными знаками. Внутри стеклянной болванки керосиновая лампа горела. И нужно было лампу заправлять, следить, чтоб огонь не потух. И в бурю выплывали, и в штиль. Стекла фонаря чистили, чтоб огонь, значит, издалека рулевым примелькивался. На чем к бакенам подплывали? Да ясно — на веслах, не на моторах же! Тогда, в конце сороковых, никто и не слышал о них, о лодках-то моторных.

Жили мы сезонно — в скривищах или землянках, отвечая за свой участок реки. В навигационный ход спрос строгий! У меня в первую же мою путевую неделю такая вот, по неопытности, несподручность вышла. Бакен я зажег, стекла прочистил, а вот проверить кошку забыл. Кошка — это такой тяжкий груз, за счет которого бакен-то и держался на месте. Ну вот, только до берега доплыл, гляжу — уж далёко он, огонек-то мой, вниз по течению влекомый. Река ночная хоть и тихая, а струистая. Что делать? Снова на весла — и за ним, беглецом. Догнал-таки!

А еще плоты много неудобств доставляли. Вот представь: идет он по течению, широченный плот, а хуже того — кошма, ну или несколько плотов вместе, а река-то в иных местах не шире. И приходится снимать бакены, пока не пройдут плоты. Иного выхода нет. Иначе ни одного бакена не останется. Поминай как звали. Легко сказать — снять бакен! А его, родимого, еще и в обратную ставить нужно. Опять крепи перекладины, устанавливай вешки, топи груз, зажигай огонь...

Зато вечером, сплавив дела, хорошо-то как похлебать у костра стерляжью уху. Пробовал? А для бакенщиков это привычная еда была летом. И знаешь, стерляди много в Волге кувыркалось. В Волге да в воложках — узких рукавах-стремнинах, песочком отороченных... Ловили же мы ее на специальные стерляжки крючки, самодельные, длинные. Остриющие и прочнющие. Привяжешь к бакену балберочку — значит,

снасть особенную, с крючками стерляжьими, безо всякой наживки. Стерлядка крючками блестящими в прозрачной воде играет, и, глядишь, одна-две и зацепятся. Бакен, он как вроде кормильцем был всегда, как родным вроде...

Он останавливался в рассказе, закуривал. Смотрел в угол, где доживал свой век бакенный скарб.

— Стеклышки фонарные красили в красный и зеленый цвета. Были еще белые и черные. Каждый цвет свой собственный судоходный смысл имел, то русло обозначая, то границу глыби и мели. Ведь и по сю пору бакены-то по цвету разнятся! Хотя теперь что — сами зажигаются, сами гаснут. На автомате. А я вот все ж таки грущу по крестовинам, вешкам, стерляжьим крючкам, что теперь безо всякой пользы, потому как перевелась в Волге стерлядь, по разной нашей бакенной оснастке. И храню вот ее у себя зачем-то...

Бакенщиков теперь не стало. Славное, почитаемое на реке было дело. Из рода в род передаваемое. И дед мой, и прадед ставили и берегли бакены. Еще в ту пору, когда остров не Зеленым, а Беклемишевским назывался... Ну а теперь, что теперь, — махал он рукой на кого-то, — тудыть вас растудыть в воложку.

Беклемишевский остров

Вот тогда-то впервые я и услышал это удивительное, таинственное — Беклемишевский остров.

И сразу же приблизился к островному миру. Через словцо. Слышалось, как шумят в нем — и в мире, и в слове — ветра, шепчутся о чем-то своем могучие дубы, скрываются поддубники и скрипят грузди, шелестит волжский песочек и перекатывается разноцветная галечка. Беклемишевский остров — это важные бакланы и отчаянные чайки-хохотушки, от пронзительного смеха которых бросает в дрожь; это кучевые августовские облака и пожарные октябрьские листопады. Это запах воды и древнего ила и стонное пение — знающие оценят! — всегда незримых лягушек-жерлянок. Щука ли ударит пятнистым хвостом на самой середине Щучьего озера, златобокий ли язь в протоке у Старого моста заставит биться сильнее рыбацкое сердце, сом ли великан поднимется июньской ночью из бездонного омута, чтобы разбить своим плеском лунную дорожку, — во всем этом угадывал я безошибочно зеленоостровские — беклемишевскоостровские! — приметы.

Беклемишевский остров, он сравнительно-то небольшой, но пройти его от и до — вряд ли кому-нибудь удавалось. Хоть на запад иди, хоть к восточной стороне — а обязательно преградит тебе дорогу какая-нибудь проточка, или какое болотце, или просто лесной завал. Здесь, на острове, всегда есть где укрыться, где раствориться или, может быть, даже вовсе исчезнуть. Кругом Волга, совсем вблизи — городская суетная жизнь. А на острове — свой микромир, свои сложившиеся законы и традиции. Пересеченный он, островок этот, с характером островок, с историей.

Говорят, что Беклемишевским остров зовется по Петру, когда-то-де сам царь-государь решил навестить волжский наш город на плоскодонном паруснике со съёмной мачтой, по-другому сказать — на струге. В то самое время комендантом городским был Василий Беклемишев. И встречу Петру устроил царскую — прямо вот здесь, на острове, да на горе Соколовой, что близ, на правом берегу, приказал Беклемишев разложить костры. Смоляные бочки пылали на всю Волгу! Издалека видать было огни, издалече. Петру пришлось такой волжский прием по душе. И он даровал воеводе островок — вот вам и Беклемишевский. Базарят еще, что, хоть и враки конечно, есть в году летняя ночь, в июле, когда Петр-призрак на призрачных стругах сюда, к Беклемишевскому-Зеленому подчаливает. Все никак со своими ревизиями не уймется...

Однажды мы с отцом заночевали прямо на песчаном берегу острова, под открытым небом. Дело было в середине лета, повсюду — и справа и слева — дымились рыбацкие костерки, отражаясь в ночной воде. Время от времени позвякивали колокольчики на донках рыбаков, рыбаки переговаривались тихо, будто боясь спугнуть сторожкую рыбацкую удачу. Угомонились уже беспокойные моторки, уткнулись носами в берег плоскодонки, замерцали у причалов зелеными огоньками — сигналами покоя — омики, устало вздохнув, заснули до завтрашнего утра трудяги уютюги³. Тихо... тихо... Но вот я услышал странный звук, доносящийся откуда-то с фарватера. Усиливающийся, нарастающий плеск. Точно бы много весел одновременно погружались в воду и отталкивались от нее с силой, чтобы вновь погрузиться. Потом звук стал смягчаться, убывать и постепенно сошел на нет.

Мы переглянулись, не сказали ни слова, но подумали, конечно, об одном и том же. Эх, любят же люди верить во всякие глупости. И на Волге, и на других реках...

Часть 2. ЛОДКИ И ЛЮДИ

Всю свою жизнь я плавал на лодках. По запутанным водным тропкам караманских протоков, по синему пунктиру березовских разливов, невольно — не прогresti! — поднимал веслами широкие листья сазанковских кувшинок, чертил узор лодочного следа по озерцам и озерам. И лодки бывали разные. Нестойкие продолговатые «березки», особенно ловкие в узких местах, где, кажется, проплыть невозможно; уверенные в себе «кефали», устойчивые, быстрые, надежные, хотя и сваливающиеся почему-то при долгой гребле на левую сторону; широкие «казанки», кургузые «ерши», не любящие лишних движений, зато легкие и неприхотливые. И резиновую лодочку опробовать мне пришлось вместе с сегодняшним моим верным напарником по рыболовным походам — Дедом. Отцом моей жены, милой моей Таточки, тестем моим, стало

³ Утюги — здесь: буксиры-толкачи.

быть. Тестем? Дед — он и есть Дед, на другие имена не откликается! Где только уже не проплывал, не проносился наш с Дедом выдавший виды «Муссон». Три часа утра, иные люди только что спать завалились, а мы с Дедом уже накачиваем — скорей бы на воду! — верный наш «Муссончик»!..

Были лодочки, были. И всегда, как незабвенный Юрий Коваль, мечтал я о «самой легкой лодке в мире». Но все-таки настоящим лодочником — в подлинном, волжском, зеленоостровском, если угодно, смысле этого слова — я не сделался. Может, еще дорасту? Тем более что лично посчастливилось мне знать лодочников от бога.

Вот вам акварелька: тихое июльское утро, волжский залив, посреди которого, на урзе водной травы, примостилась рыбацкая лодочка. И появившаяся из-за поворота моторная лодка резко сбрасывает скорость, чтобы не нарушать тишины и не мешать рыбаку. Согласен, трудно представить. Сегодня трудно. Лихо рассекающие протоки океанские катера управляются чаще всего людьми со стеклянными глазами, не видящими и не желающими видеть вокруг ничего, кроме своей очередной дорогой игрушки. Они и не слышали никогда ни про какую береговую культуру, им даже невдомек, что огромные волны выбрасывают на берег рыбу икру, что нарушается хрупкое равновесие... «Рыбы живут в прозрачных чертогах», — писал Аксаков. Но о каком равновесии и о каких «прозрачных чертогах» я говорю, если электродочка, одно из самых жестоких и циничных орудий убийства, именно убийства водных жителей, распространилась у нас повсеместно. Электрический ток убивает душу воды и душу человека вместе с ней. А весенние сбросы воды — в икротёт? Мы убиваем воду, а значит — самих себя. У нас вода уходит из-под ног...

Настоящие лодочники раньше, так уж было принято, переходили на весельный плав при входе в заливчики или протоки. Врожденный волжский интеллект срабатывал, воспитанием и самой рекой дарованный. Они еще есть, еще живы — жаль только, что редки стали уж очень. И лодки. И люди.

Дядя Гриша

Весна, ледоломная и говорливая зеленоостровская весна пленила меня безвозвратно. Ход вешней воды, несущей новую жизнь, открывающей праздник нереста, стал для меня навсегда желанен и радостен.

Всего пару недель как загорелся по закраинам островных протоков верболоз, еще только-только затеплились робкие свечки вербы, еще зеленоватая на изломе льдина упрямо не признает своего полднегового краха, еще лыжня пробегает, прерываясь местами, по ледяному потемневшему полю, и следы рыболовной тропинки еще сохранились в самых глухих уголках маленького заливчика, а уже на фарватере свиваются жгуты вешней быри⁴, оживает русло. Могучее время, громкое, шумное.

⁴ Бырь — быстрина в потоке.

Но и самое мелодично-тихое в году. Прислушаешься: где-то высоко в синем небе, по которому плывут льдины первых, почти уже летних облаков, слышны пробные переливы жаворонка. Скоро-скоро, через считанные дни, поставят бакены. Скоро дебаркадеры — домики на воде — проснутся после зимней спячки, что водные лешие, и глядишь — их уже примутся буксировать тудяги-утюжки на летние стоянки.

Всю долгую зиму были сжаты дебаркадеры скрипучими льдами, а теперь отдышались, свободно вздохнули. Отудобели⁵. Так и раздаются среди реки довольные их выдохи: «Ух, осилили зиму! Эх, дожили до весны!»

Идет такой домик по реке, а из трубы дымок, и шкипер сидит на лавочке в ватнушке, из-под которой видна синяя полоска тельняшечки, и собака при нем. Какой-нибудь Титан. Целый мир, целая вселенная.

С таким вот весенним, радостным волнением вспоминается мне дядя Гриша — главный, пожалуй, самый уважаемый лодочник Зеленого острова. Лодочник редчайший из редчайших!

Перевоз ведь всегда имел для островитян особое значение, даже в ту пору, когда ОМы и баржи ходили исправно. На барже ведь что — на барже только до дебаркадера доберешься. А огороды, к примеру, у многих притуливались к самым дальним уголкам острова, куда без лодки — никак.

И тут приходил на помощь дядя Гриша. Идеально зная систему островных протоков, озер, заливов, он в любую погоду доставлял нуждающихся точно по островному адресу. Причем если большинство перевозчиков брало за такую дополнительную работу пятнадцать копеек, то дядя Гриша — только десять. Никто не спрашивал почему. Так было заведено испокон, и все!

Дядя Гриша был фигурой почти былинной. В свое время он прошел войну и вернулся домой без руки. Обычно, особенно ранней весной, когда еще зябкие утренники, черемуховые холода, набрасывал он на плечи темную куртку, и странно было видеть, как пустой рукав ее шевелится на ветру. Однако же с лодкой управлялся он удивительно легко; лодка его слушалась, как если бы была приручена.

И это ох как важно! В лодочках ведь островитяне не только на стрелень выходили или по заливам камышовым ныкались. В пиковые дни половодья лодка оказывалась незаменимым транспортом, пробирающимся там, где еще несколько часов назад была суша. Ледяная полая вода поднимается стремительно, это у обрывистых яров не сразу и заметишь подъем в полметра-метр, а пологий берег заливаается мгновенно и весь.

И лодка дяди Гриши — в работе. Вот пересекает она стремнину. Дядя Гриша сосредоточен, и зорек, и весь как бы напружинен, и папироса точно бы срослась с углом его не улыбочивого рта. Течение бьет в лодочный бок, вода «тельняшится», как говорят волгари. Момент ответственный, напряженный — для тех, кто понимает дело.

⁵ Отудобеть — ожить, очнуться.

Кто-то из пассажиров, из самых неопытных или из случайных, встает и решает перейти на другой борт. Дядя Гриша только сверкнет глазами из-под темных бровей в сторону суетного нарушителя, и тот мигом возвращается на место. И то правда — с фарватером в мае шутки плохи, голову-то на плечах иметь надо! Большая вода уважение любит, а разболтанности и суеты не терпит. Отсюда и молчаливое дяди-Гришино нравоучение!

Так что дядя Гриша был не только перевозчиком, он был, мне кажется, волжским учителем, наставником, проводником.

Немногословен был дядя Гриша, но шутку-прибаутку отпустить мог: скажем, притвориться, что забыл дорогу, особенно если видел, что среди пассажиров есть новички. «Да не знаю, — вдруг прищурится он с хитринкой на солнышко, — в ту ли протоку зашли, не в ту ли. Ну, если что, заночуем в ярах, ухи наварим, удочки вон всегда припасены. Червячков-то подсобите подкопать?» И не знающие дяди-Гришин особенный нрав возмущались: «Как червячков? На каких ярах?» Но быстро разбирались, что к чему.

Мог дядя Гриша и ругнуться к месту, а вот грязной, бессмысленной брани от настоящих речников я никогда не слыхивал. Они умели и умеют говорить просто, но емко и образно.

Про лодку свою дядя Гриша почти никогда ничего не говорил, да мало кто и спрашивал. Но случилось однажды, что какой-то залетный катер перерезал дяде Грише путь, промчался, едва не задев неторопливую нашу гулянку⁶. Вот тогда дядя Гриша и высказался. Тираду его никак не перескажешь. Зато после, чуть остыв, бывалый речник сказал несколько слов о лодочной жизни, произнес их негромко, будто себе под нос, но кому нужно было — те услышали. И запомнили.

А сказал дядя Гриша о том, что лихие катера Волгу губят, нету в них ни уважения, ни смысла. Ни души. А вот гуляночка, она деликатная, идет себе тихо, но везде поспекает. «Почтение она знает, уважение ко всему». И мотор у нее не «наружу выперт», а в рундуке спрятан от сторонних глаз. «Точно сердцем постукивает в груди». И вообще раньше на Волге, еще до затопления, «гулянка в почете была», на ней и сено перевозили, и всякий скарб, и рыбацкую снасть. И урожай. И рыбу, конечно. Один отсек всегда для рыбы приспособлен был. И главное — «гуляночные умельцы» существовали, от сына к отцу ремесло свое передавали. Потому что сделать настоящую гулянку — не шутка. А теперь «доживаем», «доплаываем» с гулянкой своей вместе...

Короткой была речь дяди Гриши, но столько он в нее вложил обиды и горечи, столько сожаления о прошлой волжской жизни, которую «ни на одном кукане не удержать»!..

Как-то ближе к августу дядя Гриша вышел на дебаркадер, чтобы поймать парочку судаков на уху. Он обычно ставил гулянку на ночь под защиту высокого дебаркадерского бока. Поставил, стало быть, взял самодельный спиннинг, забросил в синюю вечернюю воду

⁶ Гулянка — деревянная лодка 8—12 метров в длину, мотор на которой устанавливался не на корму, а в специальный отсек — рундук.

самодельную блесну, легкую, латунную, очень похожую по движению на живую рыбку, и замер в ожидании. Какой-то залетный рыболов с разноцветными импортными телескопами (тогда еще в новинку!), желая показать свои познания в рыбацком деле, не удержался и дал совет: «Вылеску-то на катушку наматывайте, это же не донка!» Ответ дяди Гриши мне запомнился на всю жизнь:

— Ты наматывай что хочешь на что хочешь. А я-то на молчание ловлю.

Понимаете, «на молчание», то есть тихонечко, едва покачивая спиннингом и безмолвно беседуя с рекой. Надо ли говорить, что через каких-нибудь пару минут зеленоватый судак упруго скакал по брусковатому дебаркадерскому настилу...

Дядя Гриша и правда сливался с лодкой, со своей неразлучной гуляночкой. Киль у нее был еще на старый манер, из дуба, а обшивка, прибитая специальными медными гвоздями, — из сосны. И летом у дяди Гриши всегда пахло нагретым деревом и свежей речной волной; лодка плыла небыстро, точно бы гуляла по воде, по известным лишь перевозчику волжским тропкам и фарватерным большакам. И у гулянки, как полагается, имелись крытые каюты, в которые, впрочем, дядя Гриша не любил набивать народ, зато боковые деревянные лавки были всегда полны. Сам же наш перевозчик располагался у руля, зорко обозревая речную дорогу.

И еще дядя Гриша внимательно следил за временем — следовал собственному, лично утвержденному им расписанию, не опаздывая, не отставая от волны, и не заплывая вперед. Время-то волжское течет по-особенному, выплескиваясь из циферблатов. Волгари на часы не смотрят — всё больше на воду да на солнышко. Может, так оно и верней...

Последний раз увидел я дядю Гришу не на Волге, не на Зеленом острове, не в лодке. И не привычной весенней или летней порой. Он шел по городской улице, неуклюже, медленно, теряясь среди меркнувшего декабрьского дня. Это была не его стихия. Слишком загорелое лицо, слишком темные брови, слишком белый снег. Здесь, в зимнем городе, первый волжский перевозчик лишился своей мифологической силы, своей неповторимости, он просто передвигался вместе со всеми, как будто бы потеряв смысл существования. Мы коротко поздоровались. Речь его тоже изменилась, потускнела. Оказалось, что зимой дядя Гриша работает ночным сторожем, и зарплата совсем маленькая, и теперь он спешит на вахту. «Ну, в апреле можно уже лодку начинать красить, тут Новый год, январь-февраль, а там уж и весна...» Я хотел перевести разговор на родную для него зеленоостровскую почву. Дядя Гриша оживился:

— Сказал тоже — красить! Да в апреле уж на воду спускаться нужно, особенно если шуга пройдет рано...

— А где лодку собираешься держать? У дебаркадера? Как всегда?

— Да, как всегда. У дебаркадера самое то. И от волны защита, и от дождя. Да и переночевать, особенно в июне, прямо в лодке можно. А что там ночь — пару часов всего...

Мы говорили еще долго. И нам обоим, я думаю, казалось, что мы сейчас не посреди холодной улицы, а где-то на Щучьем озере, или у Второго бакена, или среди заросшей кувшинками по краям Девятки, или у Бочки — идем на дяди-Гришиной гуляночке. Или пришвартовываем ее к дебаркадеру.

Дядя Гриша опомнился первым, сказал, чтобы я поклонился отцу, которого он очень почему-то уважал, мы наскоро попрощались, и я долго еще видел сквозь расходящийся снег самого любимого волжанами перевозчика — нашего дядю Гришу.

Островная свобода. Урка-Цыган и Марина

Еще по Зеленому острову я помню Цыгана. Никто никогда не производил его имени, возможно — никто и не знал его. Цыган жил в самом удаленном островном районе, за последними огородами, за Щучьим озером, в деревянной сторожке. Жил совсем один. Поговаривали, что когда-то Цыган попал в тюрьму, может быть даже убил человека, и может так статья — бежал на свободу. Никто не решался спрашивать Цыгана о прошлом, его все побаивались, сторонились и очень при том уважали. Не один год был он этаким смуглым и косматым духом Зеленого острова. Однажды, когда мы с отцом маялись на каком-то лужку, залитом майской водой, тщетно, под лягушачий хохот, пытаясь добросить наши поплавочки до глубокого места, Цыган выплыл прямо на нас в утлой своей лодчоночке. «Эй, мужики, — забасил он весело, — забирайтесь в бударку ко мне, сорогу икряную ловить будем!» Отец подал мне знак — не бойся, мол, иди за мной — и через каких-то пару минут мы уже, встав в самые плавни, удили округлых, а иногда и шершавых, как наждак, сорожняков с цыганской «бударки».

Никогда я потом не встречал таких лодок. «Бударка» оказалась вовсе не утлой, а ладно смастеренной, устойчивой и просторной. Управлялась она одним веслом, на индейский манер, как пирога, но не качалась, была очень устойчивой, как бы вживленной в воду. На дне ее лежали прочные дубовые стлани овальной формы. Странно, но Цыган запомнился мне человеком радостным, открытым. Когда он высадил нас на берег, подплыв к самому причалу, чтобы нам не пришлось топтать по песку до дебаркадера добрых пару километров, то помахал на прощание дочерна загорелой, а может быть, просто смуглой рукой. «Приезжайте снова, на бударке поплывем!» Но больше мы с Цыганом не встречались.

С Цыганом очень дружила женщина по имени Марина. Бывая на Зеленом каждодневно, за редчайшим исключением — когда болела, зная всех островитян лично, она частенько добредала до цыгановской далекой сторожки. Урка-Цыган и Марина — та еще парочка! Уже немолодая, конечно, Марина сохранила каким-то образом налет девчоночьего задора, заплетала косу, ходила так быстро и легко, как будто бы у нее имелись волшебные скороступы. И говорила — быстро, много, перебивая себя и задавая себе же вопросы от лица собеседника. Разговор

она сводила к подробному отчету о своих многочисленных кошках-собачках, ждущих ее дома, о том, чем собирается их кормить, о своем гипотетическом островном маршруте, о грибах и рыбе. Собственно, Марина плавала на остров за добычей — за рыбешкой, главным делом, для своего стада.

И через слово, восторженно поднимая глаза, переспрашивала у кого-то невидимого, стоящего как будто бы у тебя за плечами: «Представляете?»

У Марины всегда получался монолог.

— Ну вот, сегодня двинусь к Мосту, долгонько, да, но там может баклешка пойти. А осенняя баклешечка чудесно консервируется, Пушок ее обожает. Я, знаете, обжариваю и в баночки закручиваю... В какие баночки, спрашиваете, в маленькие такие, рыбка нагулянная, в овощах у меня, открою зимой — пальчики оближешь, сама тоже ем... Еще не поймала, а уже в овощах увидела — вот я какая. Представляете? А Сенечка, песик, больше любит окушочков, да где ж я сыщу окуней без лодки. Может, к Цыгану пойти, у него лодочка всегда есть, паучок для живца... Да и вобла у него висит на веревочке, такая вся светящаяся, икру видать. Представляете? А про Цыгана поняла я, что он очень добрый, мухи не обидит, как-то щенка, на остров завезенного, подобрал, подкормил и мне отдал. Ползими с ним носился — представляете? Или подгруздки проверить, дожди-то были ночью, песок вон прибитый. Мне, знаете, котенка подкинули в прошлую зиму, а он, оказывается, грибы любит. Представляете? Я его и назвала — Лисичка. Имя такое странное, но он мальчик у меня. Не знаю, в общем, куда решусь сегодня? Вы на Щучье? А, с лодкой... Это другое дело. Не знаю. Ну, посмотрю, пойду как пойдет. Не была на острове два дня. Два. Представляете?

Представляете — два дня пропустила она! Это ж событие вселенское.

Омик еще не подчалил, еще только у бакена развернулся, а Марина уж вся — на изготовке. Ноги напружинила, глаза наострила — еще минута-другая, и она ринется в очередной свой зеленоостровский марш-бросок, и ее девчоночья косичка быстро исчезнет за поворотом.

Марина прибывала на остров первым рейсом, а уплывала — последним. И всегда — с какой-нибудь добычей. Шла к омiku она уже не так легко, как утром, нагруженная совершенно невероятными сумками, корзинками, связками с воблой. «Маленько есть!» — вскидывала она светлую свою голову. Если не баклешки своей любимой раздобудет, то грибков найдет, если не грибы — так пяток громадных, лопающихся от спелости помидорин от знакомых дачников притащит. А то боярыни-ягоды соберет, на острове крупный рос боярышник, целебный. Если, скажем, представить себе геральдическое воплощение зеленоостровского духа, вообразить, как мог бы выглядеть герб Зеленого острова, то, помимо желудей и узорных дубовых листьев, обязательно должен там быть изображен боярышник, его терпкие красные ягоды. «Сегодня по боярышничек пойдем, — деловито качали головами островные завсегдатаи, коротая время пути, — должен уж поспеть». Боярышник любили, о боярышнике вспоминали, делились

самыми невероятными рецептами его приготовления. И варенье-то из него самое вкусное и полезное, а с добавлением яблочек — просто объеденье; и пироги с ним первоклассные; и морозить его сподручно; и настойка-то на нем целебная... Считалось, что ягода боярышника, собранная в срок, обладает невероятной целительной силой; о какой бы хвори ни услышали островитяне, тотчас же начинали свои апелляции к боярышнику.

А не боярышника — так шиповника мешочек. На худой конец — дикими яблочками или мелкими твердокаменными сливами в заброшенных садах запасется Марина. На компотик, на вареньице. У нее принцип был такой — чем-нибудь да разжиться. Не с пустыми чтобы руками.

И когда я все это рассказываю, то понимаю прекрасно, что разговор совершенно ни о чем. Именно что — пустой. Ну какие, на фиг, баночки с баклешками? Ну какой, скажите на милость, боярышник? Ну кому интересно, к Мосту пойдет Марина или от Моста? Грибы она будет собирать или желуди? Мне кажется, тут есть парадокс взгляда. Если смотреть на подобные микрособытия извне, отстраненно, объективно, так сказать, то они покажутся ничтожными. Если быть внутри, если выступать их участником, да если еще втянуться в их ритм, в их повторяемость, в круговерть мелочей, важнее которых нет ничего на свете, то невольно признаешь, что какая-то ничтожная баклешка, «идущая по осени» и почему-то прекрасно подходящая для консервов, может иметь вселенскую значимость. Повседневность? Да, своего рода. Но кто сказал, что повседневность не может быть прекрасна? Иногда бывает важно разглядеть за непроглядными завесами что-то самое-самое. Разглядеть, даже если ничего там и нет. Тем я, может, и занимаюсь...

Марина, Мариночка! Как же разыскать теперь следы твоих волшебных кед-скороступов на островном песочке?

Что до Цыгана, то думаю, все это — ну, о тюрьме и прочее — были досужие домыслы, такое зеленоостровское мифотворчество. А может, и правда, кто знает?.. Важнее вот что: люди, о которых я говорю здесь, о которых вспоминаю, жизнь вели наискромнейшую — дача, коттедж или новенький катер оставались недостижимым пределом их желаний, а ведро поддубников или песочников, не говоря уж о скрипучих груздах, воспринималось как истинное богатство. Но я понимаю теперь, что они были богатыми, о, какими богатыми они были! Почему? Да потому что были свободны. И делали, что хотели. Наверное, я не прав, но мне кажется, что время, о котором мы с вами толкуем, позволяло людям находить укрытия, или уголки, или трещинки, или микроазоры, и тех застрешин хватало на целые жизни. Сейчас попробуй еще сыщи такую отдушину.

Повар

Самый колоритный персонаж этой убывавшей уже тогда потихонечку армии — Повар. Повар — конечно же, прозвище. Откуда оно пошло? А все очень просто: пожилой рыболов, безумно любящий рыбалку,

действительно работал когда-то в общепите, но главное — повязывал на время рыбалки фартук, чтобы не пачкаться чешуей и рыбьей слизью. Да мало того, к фартуку вдобавок примаскивал полотенце — вытирать руки. Он вообще постоянно, после каждой пойманной рыбешки, после каждого заброса с шумом опускал руки в воду, тщательно шерудился в воде, а следом протирал чуть ли не каждый палец полотенчиком. И, довольный своим действием, весело кряхтел.

Все всегда подшучивали над ним, спрашивали: «Повар, ты половник-то захватил, а то посолил бы и хлебал прямо из Волги! Нечего рыбу-то ловить да домой волоочь. Лаврушки туда да сольки». Или так: «Эй, Повар, что у нас меню-то нынче? Красненькое есть? Беленькое есть? Ну тогда и никакой рыбы не надо!» Или: «И закуска ни к чему — Повар, если что, тряпку с пояса даст занюхать!»

Повар оборудовал рыболовное свое место хаотически-гармонично. И весьма, впрочем, основательно. Он притаскивал с собой целые охапки удочек и спиннингов с вьющейся полузапутанной леской, из кармана его широченных брюк вечно торчали огромные гусиные перья, а еще он зачем-то брал ведра, лопаточку, действительно пачку соли, котелок, два самодельных стульчика, свернутую скаткой плащ-палатку... У него все было замотано, свернуто, скатано и перевязано полусгнившими веревочками и обрывками изоленты. Если бы Повар все эти свои скатки раскатал, то расстелилось бы, верно, целое поле. Но он не раскатывал, держал про запас — для спокойствия и надежности.

Утренний сентябрьский штиль, широкая вода лежит — не шелохнется. Красный бакен отражается на фарватере. Солнце мягкое, приглушенное легкой марью. На воде виден каждый кружочек от играющей рыбы. На песке зеленоостровской волжской косы обустраивается с чувством, с расстановкой наш Повар. Он, человек грузный, тяжелый, совершенно лысый, в огромных очках, в длиннющих — выше пояса — сапогах болотных, заходит в воду с тонкими, саморучно выточенными ольховыми колышками, чтобы воткнуть, ввернуть их в мокрый песочек поглубже — удочка будет удобно лежать на колышках, готовая в любой момент для подсечки. Когда дело сделано, кто-то из друзей-шутников, рыбакащих поблизости, с самым серьезным видом советует:

— Ты ближнюю-то рогульку хорошо поставил, а дальняя вырвется от волны, как утюг пройдет. Поправь.

— Шо, треба? — недоверчиво спрашивает рыболов.

— А то нет! — отвечает ему советчик как можно более уверенно.

И вот наш любимый Повар, перенадев очки, снова заступает в прозрачную осеннюю воду, становящуюся с каждым шатким шагом все темнее и глубже. «Сейчас, сейчас я его примощу. Только натисну половчее...» Вдруг раздается треск, и Повар, под чьим грузным телом ломается, конечно же, колышек, оказывается в воде. Долго еще хохот разносится над Волгой, подхватываемый чайками, а после уж знакомые рыболовы-шутники бросаются сушить неуклюжего своего товарища, дают ему сухие носки, штаны. Только тот все равно повязывает поверх

них мокрый фартук — иначе не может. И хохочет вместе со всеми — иначе тоже никак. На зеленоостровском наречии вся эта процедура, из раза в раз повторяемая, называлась «делать Повара». Мне кажется, впрочем, что добродушный старик немного подыгрывал своим товарищам, они шутили над ним, а он — над ними. И вот ведь как это въелось в душу — про каждый свой неуклюжий шаг до сих пор говорю: «Опять сделал Повара...»

Однажды Повару надоела береговая жизнь. То есть как надоела? Она никогда надоест не может, рыболовное дело скуки и уныния не признаёт — постоянно чем-то занят человек с удочкой: подстраивает, подпиливает, прикручивает, связывает, забрасывает, мешает подкормку, шерудится в банке с червячками навозными, моет руки. Да просто на воду смотрит — тоже дело, скажу я, немаловажное! Но вот так уж вышло, что однажды решился наш Повар гордо покинуть береговые пределы. К песчаной косе, на которой сиживал он, бывало, преспокойненько с удочками и на которой как раз так лихо «делал Повара», прибило как-то в ветреную ночь плот. Не плот, строго-то говоря, а так, плотик. Несколько бревен связанных. Может, мальчишки баловались, может, волной смыло с какого-нибудь дачного бережочка. Неизвестно. Да только сам не свой сделался рыболов: «Мне далёко плыть не треба, — бурчал себе под нос Повар, связывая и сбивая покрепче подгнившие бревна, — мне только в ту бочажину добраться, взабродочку дойти два десятка метров, а там я на плотик и взберусь. А там уж...»

Трудно сказать, что означало это мечтательное «а там уж», видимо — горбатых окуней и забронзовелых лещиков.

Его отговаривали, его предупреждали, что вся эта его конструкция развалится от первой же волны, — но разве переубедишь Повара? К центру плотика он примостил шину. «Вот и сиденье, — ликовал он, — вот и спасательный круг».

Взял он, недолго думая, пару удочек, кое-какой скарб, взгромоздился на свой трон из шины и пошел вдоль берега по пояс в воде, ведя за собой на привязи, как добрую животину, новоявленный плот. Добрался таким макаром и правда до заливчика с камышами, куда никак с берега подобраться нельзя было, привязал плот за ветку какой-то растущей в воде ивнины. «А шо? — победоносно оглянулся на нас, жалких береговиков, Повар. — Я ж казал — все выйдет».

В заливчике рыба непуганая, первый же заброс — и у Повара в руках красноперка. Второй заброс — подъязок, третий — добрый подлещик.

— Вот то жизнь, — радостно вытирает руки специальным своим полотенчиком Повар, — вот то рыболовля! Сижу, шину нагрело, ногам раздолье, и даже гвоздок для сажалки пристроен. Тёпло! Гарно! Никакого берега больше знать не стану!

Ну не станет и не станет. Не любоваться же на Повара целый день. И всяк из нас начинает заниматься своими рыбацкими делами. Только время от времени не без раздражения слышим мы восторженные возгласы Повара: «О, какой лапоть попался! Вот я тебя подсачу! Добра будет ушка-юшка!»

Рябь набегает, рыбешка ловится, чайки суетятся, солнышко поднимается. Рыбачим себе, о Поваре не думаем. Что завидовать, когда у самих в садках и серебро и золотце плещется.

Но Повар неожиданно сам напоминает о себе.

— Братцы! — машет он руками. — Моя бочажина чаровная. Был метр глубины, стало — пять.

— Да это не бочажина, а ты сам чаровной! — кричат Повару «братцы». — Дурной то есть! Ты практически к морю уже идешь! Эх, еще бы парус! Фартук на парус пускай!

Только тут Повар понял, в чем дело: зарыбачился и не заметил в азарте, как отвязалась от ивнины его веревочка.

— Ну киньте мотузку⁷ какую, ну спасите старика!

Не совсем к морю, конечно, но к фарватеру. И какую «мотузку», спрашивается, до фарватера добросишь — слишком далеко он уже на своем агрегате от берега.

Но рыбаки народ смекалистый. У кого-то нашелся спиннинг с тяжеленным свинцовым грузом на конце.

— Только не зашибите, братцы! — горланит Повар.

— Не бойсь, не зашибем!

Свинцовая «ложка» перелетает со свистом через плот, Повар хватается за толстенную — бельевую — леску, заматывает ее за бревно плота, и мы потихонечку, медленно вращая катушку, буксируем Повара на спиннинге к берегу.

— Щук ловил, — смеется кто-то, — судаков ловил... А вот Поваров никогда!

И зеленоостровская волжская коса оглашается всеобщим добрым смехом.

Повар спасен. С него причитается.

— Слышь, Повар, — подначивают его друзья, — ты плотик-то свой подальше в кусты запрячь, а завтра прибудешь пораньше — и в любимый заливчик. Там же, как ты говорил, гарно. И рыбищи полно, и русалку, может, какую заплутавшую зацепишь!

— Нет, нет! — отмахивается Повар. — Только берег люб мне, только песочек под ногами. Никаких плотов больше не треба!..

Бредень

Имелся на Беклемишевском и еще один авторитет. Да какой! Непререкаемый. О чем ни зайдет спор, какая ни вспыхнет зеленоостровская полемика — все к нему, к его опыту апеллировали. Правда, было и одно но: редко кто его видел и еще реже кто говорил с ним. Как это, спросите? А вот как.

Погода ни к черту. Ветер буквально с цепи сорвался. Белые барашки-гребни на волнах прыгают. Сиро, тоскливо. На Волге такое

⁷ Мотузка — веревка (укр.).

случается: вчера еще мягкий борей, и водичка приветливая, а сегодня с утра — сиверко.

— Красно солнце поутру — рыбаку не по нутру! — приветствует нас шкипер на дебаркадере. — Рыбалки не будет.

Он поеживается, закуривает, уклоняясь от хлесткого ветра, и добавляет загадочно:

— А все ж Бредень ведерко взял. С пяти до семи ловил — пока нахлест не разбежался. Но то Бредень...

Возвращается Марина к вечерней барже, что-то грустноватая.

— Представляете, всего десяток поддубников отыскала — замаялась. Нет гриба. И вроде дожди прошли, и вроде в самую гущу залезла. Почему такое? Всего десяток... Ну на суп, пожалуй, хватит, завтра доберу! Вот Бредень вчера два ведра надыбал — весь остров ахал! И подберезовики, и грузди, представляете? Но то Бредень...

Чинит дядя Гриша мотор, ворчит:

— У Бредня надо подмоги спросить, он точно подсобит!

Почему Бредень? Бог весть. Может, бредешком рыбку сноровисто захватывал, а может — бродить по островочку любил Беклемишевскому. О его невероятных островных талантах слышал я и в жару, и в стужу, и в дождь, и в снег. И восхищался им вместе с другими. Больше того — годы спустя, если что-то не разруливалось — не срасталось, мысленно вздыхал: «Вот Бредень бы справился!»

* * *

Островные люди — свободные люди. Волжские лодки — свободные лодки.

В серенькие сентябрьские будни, после вольного лета, собираюсь — сбираюсь, я бы даже сказал — в школу, отец надевает пиджак — на работу пора, в издательство, в журнал, мама готовится к лекциям в медицинском, и вот мы ведем эти сборы всей семьей, а потом вдруг переглядываемся: на Зеленом-то сейчас красота, дядя Гриша бороздит Волгу, тетя Люда продает кому-то три билета — один детский и два взрослых, Цыган машет загорелой рукой со своей «бударки». И шкипер Алексей гремит в меднобокий гремочек. Вот где раздолье, вот где лафа.

А еще о дяде Ване не сказал. Ох уж этот дядя Ваня! Он, заслуженный в прошлом военный, истинный офицер по духу, мягчайший и тонко знающий жизнь человек, торжественно выходит со связкой удочек на специальной — «пенсионерские», как сам их называет, — мостки на опустевшей островной базе отдыха, которая стала со временем рыболовной нашей Меккой. А по водичке синей дубовый уж листок первый проплывает. Вот где жизнь-то, вот где вольница! Дядя Ваня, искуситель, частенько, случалось, сбивал нас с пути истинного, а может — наставлял на тот самый путь, как знать? Говорит, бывало: «Ну, первая неделя в школе — притирка к цели (он танкистом служил), день Ванюшка сходил, а следующий можно и Волге отдать». Он так и говорил: «Волге

отдать». Умел дядя Ваня как никто другой обихаживать, насиживать местечко для рыбной ловли. Если на мостках располагается, то кресло старенькое с собой захватывает, если в жару дело — то он уж под тентом, если в дождь — под зонтиком. А на столике у него чаек горячий дымится. Вода из залива уходит, узенькая проточка, связывающая заливчик наш с большой водой, пересыхает, никак рыбе ни пройти ни выйти, и тогда дядя Ваня берется за лопату — в его-то почти восемьдесят! — и углубляет проточку «на штык», как сам, по-армейски, выражается. А по бокам ставит пару флажков, чтобы приплывающие лодки на мель не садились, точно по углубленному месту шли. Все только и повторяют с поклоном — да, силен дядя Ваня!

Так, стало быть, «Волге отдать». И разве после такого не отдашь? Срывались мы с отцом в осенние просторные деньки, охотно обрывали паутинные связи с городом, прогуливали и школу, и работу. И мама только головой качала. Но — отпускала. Дома это называлось так: «Пока погода летняя». Или родители на мои мольбы о внеурочной, в буквальном смысле, поездке на Зеленый отвечали: «Загадывать не будем. Утром решим, по обстоятельствам». Это означало, что нужно быстренько готовить снасти к рыбалке...

С самого детства я уважительно и с некоторой, не скрою, белой завистью относился к людям, которые отправлялись на Зеленый каждый день — как Марина, как на работу. В основном это были, конечно, чудаки, пенсионеры — из старой гвардии, или, как говорится, люди старой закалки. Какой-нибудь комариный залив, или поддубниковская грибная делянка, или продутая свежим ветром волжская коса — вот их жизненные ориентиры. Они сознательно доживали жизни в этом стремлении к волжской воде, отдавали остатки лет Волге. И вода, я полагаю, дарила им силы. В чем-то очень ограниченные, они все равно выделялись из людской массы своей обветренностью и костровой прокопченностью, на них заметно было тавро вольной жизни. Свободные они, островные люди и волжские лодки.

Часть 3. ЗЕЛЕНООСТРОВСКАЯ МЕККА

Так случилось, что свободу поддубниковскую зеленоостровскую poznali мы с отцом не вдруг, не с первого самого дня, да и года, пожалуй, не с первого. Нужно было сперва просмолиться как следует ушиным дымком, вобрать в себя хотя бы несколько крупиц песчаной мудрости, слиться с отражениями в заливах и протоках, узнать поименно все озера, лесные глубы и речные мели. Вторая коса, У трех братьев, Бочка, Щучье, Долгое, Старый мост, Девятка, Продира, Иваново озеро, За пароходом, Первая поляна...

И только после этого единения с островной жизнью мы обрели здесь, среди песков и дубов, волшебное место рыбацкой радости и душевного

отдохновения. Обрели случайно. Или это только так кажется, что случайно? И правда, многое ли происходит с нами случайного в жизни?

Над такими и подобными вопросами любил по-философски задумываться Николай Павлович Рыжков — он-то в урочный час и открыл перед нами ворота зеленоостровской Мекки.

Но прежде хотя бы пару слов, для зачину, еще об одном вольном зеленоостровском лодочнике — Вениамине Петровиче. И о его островном окружении.

Вениамин и К°

До глубины души заводской человек, Вениамин всю свою сноровку, весь свой опыт вкладывал в лодку. С некоторых пор, выйдя, как я понимаю, на пенсию, он и жить стал прямо на Зеленом острове — рядом с любимой лодкой. Да что там рядом — прямо в ней, в родимой.

Прибудешь, бывало, на зеленоостровскую базу отдыха, директором которой стал тогда как раз радушно привечавший в своих владениях коллег по писательскому цеху Юрий Иванович Сидоренко, о чьем отце, дяде Ване-то, я говорил уж (вот она, Мекка-то зеленоостровская, вот она, улыбка судьбы!), так вот, прибудешь, а Вениамин уж возится с мотором: руки перепачканы мазутом, из кармана торчит обрывок ветоши... Раз Вениамин Петрович на месте, работает — значит, порядок!

В первый раз увидел я Вениамина Петровича, когда он набирал воду в прокопченный насквозь чайник. Вениамин шумно, широко зашел чуть ли не на середину залитой полой водой луговины, забрел прямо так, босиком, отогнал широкой своей ладонью влекомые ветром плавни и ловко черпанул ледяной майской водички. «Смотри, — подмигнул он мне, открывшему рот, — ни одной соринки. Чаек заварим что надо! А вода здесь, на Зеленом, — особенная, она своих любит».

Славное было время. Разгорался май. Остро и даже пьяняще пахло дубовым листом, последним появляющимся на свет по весне. Соловьи просто надрывались в кустах ивняка и цепкого боярышника. Лягушки старались не отставать и устраивали свои собственные, лягушачьи концерты. «Теперь все на уху!» — кричит Юрий Иванович из своего домика на воде, и обитатели базы подтягиваются на ароматный дымок. Тут и Вениамин Петрович с женой, добрейшей и немного отчего-то грустной женщиной, у которой был, казалось мне, родной голос, и Виталий — истинный волгарь и умелец, каких не сыскать, и Олег Максимович Лукьянов, замечательный писатель-фантаст, один из самых начитанных и образованных людей, каких только мне доводилось видеть, и тот самый дядя Ваня, конечно же, и Николай Рыжков собственной персоной. И мы с отцом.

И разговор сразу же заходит о лодках: где просмолить, где подкрасить, из чего смастерить новые стлани, какой болтик вылетел из мотора, как починить треснувшее весло...

Ход весенней воды, несущей новую жизнь, открывающей праздник нереста, был для меня всегда радостен. Крутятся в водоворотах течения сухие плавни, идут по реке вымытые из глухих бочажин прошлогодние камыши, порой и льдинка, чудом уцелевшая, черная, игольчатая, проносится. Бакены кренятся, как будто они бурлаки, волочащие на своих плечах могучую реку. Чайки капитанят на сухих островках, весело гудят пароходы. Пахнет водой, у пирсов — немного краской и мазутом. Пароходики все покрашенные, новенькие, как игрушечные. Звездочки у омиков на носах красные, якоря — белые. И на Зеленом — шум-гам. Кто-то забрасывает удочку прямо с крыльца подтопленного домика, кто-то подновляет катер, кто-то суматошно ищет резиновые сапоги... А вот некоторые, вроде Вениамина Петровича, обходятся без всяких сапог. Вениамин всегда по весне передвигался по острову на лодке, отталкиваясь от деревьев и мелкого дна веслом, что шестом. Ну, разумеется, не на моторке своей ненаглядной, а на простой деревянной «березке». Кстати, не он один. Нина Кирьяновна, под чьим неусыпным вниманием находилась вся хозяйственно-бытовая жизнь на турбазе, тоже передвигалась от домика к домику, и вообще по залитому внешней водой острову, исключительно лодочным способом.

Удивительная женщина Нина Кирьяновна! Сколько ни встречал ее — всегда смеялась. Или улыбалась, по крайней мере. Сколько кто ни спрашивал, убывает ли когда-нибудь она с острова, — всем отвечала загадочно: «В городе квартира у меня, а здесь — дом! В доме всё лучше!» Кирьяновна всегда на месте и всегда при деле — что-то моет, или чистит, или стирает, или варит. И выглядит так, точно не работу тяжелую работает, а отдыхает.

— О, рыбаки пришли! — встречала нас с отцом обыкновенно Нина Кирьяновна на базе. — Ну, рыба, держись! А я вот, видите, в магазин собралась с утра пораньше!

И смеется.

К слову, на Зеленом, начиная с первого мая, действительно работал магазин, ну простой магазинчик с самыми элементарными продуктами и вещами — соль, сахар, мука, конфеты, вино, курица, спички и все такое. Магазин был недалеко от базы, и здешние обитатели охотно плавали за необходимым. Плышет Нина Кирьяновна, скажем, сноровисто огибая деревья и пеньки, а на корме гора подушек и пододеяльников, а навстречу Вениамин Петрович, из магазина уже в лодочке скользит:

— Здорово, Кирьяновна! Тебе соли на кухню забросить? А то накупил полпуда, думаю, старый дурень, рыба скоро попреет, а она-то еще не пошла толком. Вода поднялась, а рыбка пока нет. Ну, забросить, что ли?

— Да, Петрович, если не трудно. А хлеба взял?

— А то как же!

— Ну тогда пару буханок, потом рассчитаемся.

— Придумала тоже — «рассчитаемся». Если только натурой!

— Мне натурой нельзя, — кокетливо поправляя платок Кирьянова, улыбаясь смущенно, — я еще в девках хожу.

— Ну тогда с тебя обед из трех блюд с компотом — я нынче голодный и жадный.

И они смеются, когда их лодочки, поравнявшись, соприкасаются боками...

Понимаю, сегодня это все звучит фантастически — магазин, работающий с самой ранней весны до поздней осени, до конца навигации, на волжском острове. Но чья лодка соприкоснулась хотя бы едва-едва, боком, с тем временем, сразу поймет, о чем речь, и нисколько не удивится.

«Глаза б мои его не видели...»

Нина Кирьяновна всему и всегда улыбалась. А вот Игорь Дмитриевич, напротив, всему и всегда хмурился. Он был, пожалуй, самым нелюдимым и вредным сторожем базы. Стучимся с отцом в черемуховое весеннее ненастье на базу, а калитка затворена. Никто из сторожей не запирается, кроме Игоря Дмитриевича.

— Игорь Дмитриевич! — стараясь сохранять добродушную интонацию, кричит отец. — Это мы с Ваней.

— Кто? — спрашивает вредный старик, стараясь, в свою очередь, сохранять в голосе недоумение и металлическую холодность.

Он видел нас десятки раз уже, обсуждал рыбалки, читал газеты, приносимые папой на базу, но все еще не принял за своих.

— И почто в такую погоду холодную приплыли? — дребезжит он из-за калитки.

— И правда, зря, наверно, — вынужден согласиться отец. — Но раз приплыли — куда ж нам деваться?

О, папа умел быть дипломатом, когда приходилось!

— И то верно, деваться некуда, — двусмысленно вздыхает Игорь Дмитриевич, неспешно погромыхая связкой ключей.

Потом надо как-то перейти к разговору о лодке. Это не очень-то просто. Ведь у Игоря Дмитриевича, в отличие от всех остальных работников базы, есть специальная тетрадь, в которой он скрупулезно ведет учет прибывших и убывших лодок. Хотя никто его об этом, конечно, не просит.

— Может, в такую бурю не поплывете? — Игорь Дмитриевич с грустью смотрит на ледяную свинцовую рябь залива. — Может, на мосточках?

Если бы все было так просто! Но «на мосточках» самая волна расходится, нужно по такой погодке прятаться за прошлогодние тростниковые редуты. Да и рыба там прячется-трется хорошенькая. И отец не отступает.

— Да мы здесь, у бережка, прямо на виду, чтоб вы не беспокоились.

Ход отца тонкий. О чем может беспокоиться Игорь Дмитриевич? О том, что мы, друзья директора базы, угоним лодку? И он немедленно уступает.

— Да я уже отпираю, отпираю... Ну а чего ж, посидите... Может, и клюнется какая шальная. А мне на рыбалку неохота. Глаза б мои этот залив не видели.

«Ну а чего ж» и «глаза б мои этот залив не видели» — излюбленные присказки Игоря Дмитриевича, которые он несколько варьирует в зависимости от обстоятельств. Попросит, скажем, Юрий Иванович им с Виталей подсобить маленько, траншейку для холодного копчения рыбы углубить, Игорь Дмитриевич, нарочито вздыхая, с шумом достает лопату из подсобки и декламирует, укоризненно глядя на Сидоренко:

— «Вырыта заступом яма глубокая...» Ну а чего ж не подсобить, подсоблю, не семьдесят же мне лет-то...

Или обратится Кирьяновна в горячую пору:

— Игорь Дмитриевич, захвати мне пачку соды на кухню, а то закончилась, ты ж все равно в магазин собрался!

— Да в магазин, в магазин, — кивает старик головой. — Глаза б мои его не видели.

А когда видел меня, бурчал под нос песенку:

Хорошо на Волге жить,
Плывут пароходики.
Незаметно протекают
Молодые годики.

Игорь Дмитриевич ворчал и бурчал на всех и конфликтовал со всеми. Он был всегда в шляпе, в синей плотной рубашке. На загорелом лице сурово сдвигались темные брови. Говорил он как бы нехотя, с напряжением открывая рот. И его дежурствам, что удивительно, всегда сопутствовала дурная, сырая и ветреная погода. Сварливая, скажем так.

Мой старший брат Саша, приезжавший к нам обычно в летний учительский отпуск, отчаянный любитель спиннингов и тонкий ценитель блесен, как-то приплыл порыбачить на остров без нас с отцом, и Игорь Дмитриевич, прекрасно Сашу помня, дал ему лодку и весла только после того, как взял в качестве залога электронные часы...

А вот еще вам случай. Рядом со сторожкой Игорь Дмитриевич устроил свой маленький личный огород: высадил помидорку⁸, огурчики, укропчик там всякий. К июню молодой укроп уже можно было срывать, и отец частенько захватывал, мимоходом, кустик-другой — к ушнице. Делал он это очень оригинально. Собирает потихонечку букетик цветов, подмаренничек там всякий, донничек, а сам к огородным владениям Игоря Дмитриевича продвигается, под цветочным-то прикрытием. И раз — веточку-другую к букетику пристроит. Как бы случайно. Как бы нечаянно. Воровством тут и не пахло, если учесть, что семена нахмуренному нашему огороднику мы же из города и привозили по его просьбе.

⁸ Помидорка (помидора) — помидоры (диал.).

Что не помешало, впрочем, Игорю Дмитриевичу поймать нас, что называется, за руку.

Папа, значит, примачивает к букетику очередную зеленую ароматную веточку, я боюсь, как могу, но Игорь Дмитриевич тут как тут.

— А я-то думал, — дребезжит он над папиным прямо ухом, — почему это у меня укропа все меньше и меньше?

Укроп, скажу, штука копеечная. Просто нам с отцом хотелось зеленоостровского, понимаете? Уха из зеленоостровских окуней, приправленная зеленоостровским укропом. Это ж романтика просто.

Но Игорь Дмитриевич не романтик. И продолжает свой наскок:

— Это что же вы, мой укроп едите?

— Нет, — спокойно, как всегда, находится отец. — Это Юрий Иваныч попросил. Для всей базы. Для большой вечерней коллективной ухи...

— Ну а чего ж, — вздыхает Игорь Дмитриевич обреченно. — Пенсионерский укроп всем сладок...

Таким-то был самый суровый и злобный сторож зеленоостровской Мекки. Единственное живое существо, в судьбе которого он принимал теплое участие, звалось Тобик — старый-престарый пес непонятной породы, весь поседевший и выцветший. Тобик походил на злого сторожа угрюмостью и колючестью. Даже если давали мы ему с отцом сладкую косточку, он, казалось, не очень-то радовался ей и, утаскивая ее в свою конуру, ворчал под нос: «Ну а чего ж. Мне, старику, кости с барского стола. Заслужил...»

Случилось так, что мы с папой застали последний день Игоря Дмитриевича на базе — провожали его вместе со всеми в город, устал он дежурить, надоело. Да и зрение начало подводить очень уж. Погода была ветреная, серая. Посидели за столом под дубом, повспоминали истории из былого, Юрий Иванович что-то подарил суровому старику на память.

Он поблагодарил Сидоренко, даже приобнял его, и попросил не прогонять с базы Тобика. Никто этого делать не собирался, конечно. Но Игорь Дмитриевич произнес то ли в очередной раз задрезавшим, то ли впервые дрогнувшим голосом:

— Собака старая, долго не протянет, вы ее подкармливайте тут... Тобик, он много лет всем нам служил, глаза б мои его не видели...

И снова Вениамин

Но пора вновь обратить взгляд на Вениамина Петровича.

Вениамин мог часами рассказывать о лодках и веслах, вспоминать истории и интересные случаи из волжской жизни. Да вот, к примеру. Вышел как-то Вениамин на фарватер, поздней-поздней осенью, в конце ноября, после уж закрытия сезона судоходного, в минусовую, вышел на ночь, заякорился, кормушечку опустил, и лежи, краснобокие, заматеревшие, с глубины двадцатиметровой брать начали. Азарт, холода не замечаешь, на борту фонарик светит, чтоб от баржи уберечь в кромешной-то тьме осенней.

— И, — торжественно и даже с какой-то гордостью повторял всякий раз Вениамин, поднимая корявый указательный палец с посиневшим, приплюснутым за верстаком ногтем и переходя на шепот, словно бы мы все теперь оказались посредине осенней ночной Волги, — гляжу, а фонарик-то как-то странно в воде отражается, потому что не в воде уже, а во льду. Пока я ловил, за ночь буквально, Волга встала! Хорошо, у меня шест всегда под рукой, как посветлело, начал пробиваться к берегу. А лещей таких с тех самых пор я не то что не ловил, но даже и не видывал...

— Это ты, Веня, поллитру не взял с собой, плесканул бы — и всю шугу бы растопил! — широко улыбались слушающие эту историю уже в пятидесятый раз островитяне.

— На Волге ни-ни, нельзя, Волга, она уважение любит! — отвечал Вениамин Петрович.

Да, Волга для людей, о которых говорю теперь, была священным пределом, местом жизни, местом работы, местом погружения в себя. Ведь не за лещами же одними выплываешь ты морозной предзимней ночью на бездонные волжские ямы, не за рыбой, не за добычей. Тут что-то большее есть, глубина, что ли, иного измерения. Для кого-то Волга — она и искусство, и история...

Истории историями, но больше всего нравилось мне просто смотреть на руки Вениамина Петровича — загрубелые, натруженные постоянной работой руки, знающие истинную поэзию дела. Вот он подходит к мотору, кажущемуся до поры неживым, застывшим, и что-то вдруг начинает вертеться, вращаться, стрекотать, и становится ясно, что у мотора тоже есть норы, он тоже неповторим по-своему, а значит, и уникален.

Частенько, особенно летом, Вениамин и дневал и ночевал прямо на своей лодке — благо она была с каютой. Старый лодочник был со своей лодкой в непростых отношениях. Когда моторка слушалась его, была с ним заодно, Вениамин Петрович расхваливал ее на все лады: уж такая лодочка-то у него незаменимая, уж такая спорая. И быстра она, и волну держит. Если же лодка начинала барахлить, если что-то не контакило, не получалось на раз-два запустить чиненый-перечиненый мотор, то старик грозил посудине своей страшными карами и подробно рассказывал, как, и кому, и когда продаст «нерадивое корыто».

— Ты думаешь, — обращался к лодке Вениамин, — я это и дальше буду выходки твои терпеть, буду укутывать брезентом на зиму и поднимать на распорочках? А может, ты возмечтала, что я покрашу тебя, как весной, красочкой свежей, такую-растакую?.. А ты мне навстречу, паскудинка, хоть шажочек, хоть гребочек один сделала? Нет? Ну так и не надейся, ближе к зиме продам, продам, терпеть такого не буду. Что молчишь? Вон, Васька уже не впервой интересовался, а что — хоть копейку какую выручу.

Лодка слушала хозяина настороженно, как будто была она коровой-кормилицей, от которой грозятся избавиться. Лодка понимала, конечно, что Вениамин Петрович ни на что и никогда ее не променяет — слишком

многое и слишком долгое связывало их. Растросить⁹ такую связь невозможно. Но на всякий случай становилась покладистой.

Был у Вениамина Петровича сосед по лодочному ну не то чтобы кварталу, а так, хуторочку на воде. Звали его все по фамилии — Истомин. Он тоже, как и Вениамин, жил на базе, под крылом Юрия Ивановича, но большую часть времени проводил в каюте своей гуляночки. Вместе Истомин и Вениамин, как настоящие соседи, плавали на коренную, ловить на кольцо разную фарватерную рыбу, леща в основном, стрежневую густеру, сопу. Вместе ладили снасти. Вместе вывешивали свой улов вялиться на солнышке в специальных сушильнях. А в плохую погоду, когда на открытой воде боковая хлесткая волна расходилась, сидели они по каютам, покачиваясь у понтонного мостка и изредка переговариваясь. Благо их лодки-дома были совсем рядышком. И к ним на лодки, по мосткам, приходила жена Вениамина. Придет, попробует уговорить стариков ночевать в домиках, да так ни с чем и отправится восвояси, тихонечко жалуясь кому-то на своего отбившегося от рук и от суши горе-мужа. Только ужин старикам оставит — и уйдет.

Раз, помню, в одну из поздних, осенних уже, ночевок на Зеленом, проснулся я раньше положенного, еще когда лишь полоска утреннего света — и та мерещится только. Вышел из домика — ночь звездная, в стихшем, недвижимом заливе Млечный Путь отражается бледным свечением. Зеркало. Амальгама. Вдруг смотрю, в истоминской лодке огонек засветился, издалека видать его в запотевшем окошке. И сам Истомин, кутаясь в телогрейку, горбясь после короткого стариковского сна, выбирается из лодки на понтон и кличет Вениамина Петровича — на рыбалку, стало быть, будит его, с вечера договорились плыть вместе. Он зовет Вениамина сначала тихо, потом громче и громче, в ночной осенней тиши почти криком звучит его голос:

— Эй, Вениамин Петрович! Вениамин! Венька, старый ты хрыч! Жив там еще, что ли, в своем корыте?

— Да жив, жив... Что утро зря шугаешь? Могли бы и поспать еще часик — не на работу...

* * *

У времени — работа своя. Поднималось солнце, и опускалось солнце. Зеленели листья, и облетали листья. Приходила вода по весне и убывала по осени. И коренастое племя зеленоостровских лодочников и рыболовов убывало с каждым годом. Сначала не стало дяди Гриши, не пережившего одну из суровых зим середины восьмидесятых, не дождавшегося праздника перевозчиков и всех речников — половодья. Его темная куртка не промелькнула больше на фоне цветущей черемухи.

⁹ *Растросить* — разорвать, разомкнуть.

Погиб Цыган, сгорев по пьяному делу в своей сторожке. И его «бударка» потом доживала сиротский лодочный век, угрюмо уткнувшись носом в глухой чакан¹⁰.

Некого стало навещать на острове Марине.

Исчез с золотой волжской косы Повар. И песочек речной враз потерял свой драгоценный цвет.

Потом сложились для вечного покоя руки Вениамина Петровича. И лодка Вениамина тоже сложила весла, как руки. И никому-то ее не продали...

Мне запомнилось, как жена Вениамина Петровича (слово «вдова» тут как-то не к месту) все плакала, все повторяла: «Венечка умер...» И в ее изменившемся, каком-то чужом, неузнаваемом голосе слышалась боль утраты, нашей общей утраты, ведь потеря таких людей невозполнима, а пустота страшна. И моросил над островом дождик, и капли-слезы текли по стеклам съезжившихся от ненастья домиков. «Венечка умер... Венечка... Венечка...»

Я вот еще о чем захотел вспомнить почему-то. О пути к причалу и о самом отправлении на Зеленый. Нужно было поспеть к первому утреннему троллейбусу, выйти на Соборной, спуститься по заросшей цветами и высокими травами лестничке к Набережной, зайти в здание Речного вокзала, за билетами, и быстренько — вдруг не успеем! — к столбику номер шесть. На Зеленый всегда было отправление с шестого причала почему-то. И обязательно каждый рейс — на Шумейку, в Пристанное, в Усовку, на Зеленый остров — объявлялся. И вот когда объявление уж прозвучало, когда трап матросы установили, когда нужно первый шаг по трапу сделать, перед этим самым шагом за мгновение — я испытывал внутреннюю дрожь. То ли от волнения, то ли от счастья. Да еще и прохладно утром у большой воды, всегда прохладно, даже в жару. И теперь, когда прохожу зачем-то мимо причала номер шесть, с которого много-много уже лет не отправляются никуда омики и тем более баржи, я испытываю необъяснимое волнение, даже мурашки по коже пробегают. И еще я смотрю в сторону Зеленого, когда бываю у причалов, как-то инстинктивно, само собой получается.

В тумане. «Ни мур-мур не видно!»

Осенью, знаете, в сентябре-октябре, случались обидные туманы по утрам. Всю неделю собираешься, внутренне готовишься к выезду, ждешь единственного выходного, нервно постукиваешь-барабанишь по барометру — не падает ли атмосферное давление, проверяешь; наконец, заходя, на самом первом-препервом троллейбусе, приезжаешь на Речной вокзал — а рейс отложили. Люди стоят, ждут, когда матросы трап установят, а по речному вокзалу объявление: «Уважаемые пассажиры! В связи со значительным туманом, затрудняющим видимость, диспетчер принял решение отложить отправление “ОМа-126”»,

¹⁰ Чакан — рогоз.

следующего до Зеленого острова, на один час. Следите за дальнейшей информацией».

— Да разве это туман, — машут возмущенные рыболовы, грибники и дачники куда-то в сторону мостовых быков, которых даже и контуров не видать за пластами белых низовых наплывов, — разве это «значительное затруднение»? Всё за километр как на ладони. Да уже через пять минут плыть можно! Эй, где там диспетчер?

Из окошка речвокзала показывалась, в таких случаях, голова диспетчера — Багорика. Фамилию его, понятное дело, никто упомянуть не мог, имя-отчество тоже растворилось где-то в «плохой видимости», а вот прозвище Багорик подошло ему один в один. Он был невысокого роста, моложавый, с худыми цепкими руками, с остро заточенным подбородком и скрипучим голосом. Одно слово — Багорик. И вот диспетчер Багорик, зябко потягиваясь, поскрипывал, разъясняя людям ситуацию:

— Никак нельзя, по сводке через час туман сдвинется, тогда и навигацию пустим. Ни мур-мур не видно. Часик всего подождите, посидите, сил наберитесь — целый день же впереди, часом больше, часом меньше...

Люди негодовали:

— Багорик, да ты что, издеваешься? Как это «ни мур-мур»? Как это часом меньше? Да за час сколько можно груздей набрать, да за час и до Девятки (самой дальней островной протоки) дойти можно!

— Да за час и уха будет, — нетерпеливо потрясали связками бамбуковых удилищ рыболовы, — ради утреннего клева только и плывем! Повар уж фартук нацепил! Сколько можно здесь торчать? Бредень, верно, уж с уловом возвращается!

— Баклешка утром самая жирная идет, — задумчиво подтверждала Марина.

И обязательно прибежал, запыхавшись, кто-то безнадежно опоздавший. Всегда находится тот, кто пытается нагнать время. Весь взмыленный, с гроыхающим рюкзаком за плечами, тяжело отдыхиваясь на ходу. Прибежал человек и радовался — на спасительные минуты задержалась отправка, поспел, нагнал, не зря мчался. И тотчас начинал требовать, вместе со всеми, немедленного отправления.

Наконец компромисс находился, пароходики выпускали в рейсы, и они потихонечку, так же нехотя, так же зябко поеживаясь, как и диспетчер Багорик, разбредались по своим направлениям и исчезали в осеннем волжском тумане.

* * *

— ...Эй, Вениамин Петрович! Вениамин! Венька, старый ты хрыч! Жив там еще, что ли, в своем корыте?

— Да жив, жив... Что утро зря шугаешь?

Часть 4. ОСТРОВНЫЕ СОКРАТЫ

А вот теперь о рыболовной Мекке чуть размашистее скажем, сделаем гребок нашего вёсельного разговора чуть пошире.

Отец русской демократии

Рыболовными страстями Николай Павлович Рыжков — а сначала скажем о нем — никогда одержим не был. Хотя уху любил весьма и весьма. Он был мастером иных речей.

В молодости еще, в шестидесятые, он создал попавший в опалу литературный кружок, после разгрома которого все время находился у истоков чего-то — молодежных газет, журналов, издательств. Николай Рыжков так и остался где-то там, в шестидесятых, не сумев или не захотев воспринимать всерьез происходящее со страной далее, не вписался ни в один поворот дальнейших событий. О Рыжкове помнят сегодня единицы, но человек это был масштабный. Мог, например, несколько месяцев прожить на даче у своего друга Валентина Берестова где-то в Подмоскovie и съесть весь берестовский запас картошки на зиму, а потом пригласить его на все лето на Волгу, мог целый день проговорить с Вознесенским в Переделкине, мог советовать что-то дельное еще одному своему другу, Константину Шилову, автору превосходной жэзэловской книги о Борисове-Мусатове. Николай Павлович был проводником, помощником, спутником литературы, но имя его не вырвалось из пределов чужих книг, публикаций, архивных находок и примечаний. Зато в книге Зеленого — Беклемишевского! — острова оно звучало ярко и убедительно.

Прозвище у Рыжкова было самое подходящее — Отец русской демократии. Где бы ни работал Николай Павлович — в издательстве ли, в библиотеке ли, — его просили оттуда в течение, самое большее, года. Очень уж он свободен был в суждениях и притом не признавал никакой над собой начальственной власти. То есть был человеком абсолютной вольности. Обед в библиотеке с часу до двух, допустим, Николай Павлович уходит в двенадцать, а является к трем. На все распросы отвечает: «Да разговорился с Володей (то есть с папой с моим, с которым Рыжков дружил ближе всех), начали вспоминать “Историю русской словесности” Петра Полевого, еще и еще». Или так: планерка в газете, выступает представитель обкома, Николай Павлович, вместо того чтобы изображать внимание, играет в коробочку с Борисом Дедюхиным, прекрасным писателем-историком, работавшим, скажем, с Кирой Муратовой. Если спичечный коробок, подкинутый большим пальцем, падает плашмя — один балл, на ребро — два балла, а встает «на попа» — пять. В самый ответственный момент выступления, когда речь заходит о воспитании молодежи, о новых задачах партии, Рыжков кричит на всю редакционную комнату после удачного кувырка спичечной коробки: «На попа!» Обкомовец, и до того косившийся на Рыжкова

с Дедюхиным, не выдерживает: «На какого попа? На какого еще попа, к чертовой бабушке?»

В коробочку, скажу я вам, все играли, но не при товарище же высокопоставленном...

Литературу Отец русской демократии знал так хорошо, как, думаю, ни одному профессору ни в одном университете не снилось. Николаю Павловичу достаточно было просто взять стакан в подстаканнике, отхлебнуть чаю, крепкого-крепкого, с лимончиком или с травами, достать из вазы тонкими пальцами воздушную зефирину или огрызок какого-то пересушенного плюшкинского печенья — неважно! — опустить его на мгновение в кипяток, откусить со вкусом, закурить дешевую, спрошенную у кого-то, у тех же сторожей на острове, папиросу или отцовский «Космос» (Рыжков всегда был гол как сокол), затянуться, поправить свитер на горле (он вечно ходил в свитерах и кофтах) — и перед тобой уже вырисовывались целые литературные направления, ты видел живыми героев книг, ты их чувствовал, Николай Павлович как бы приводил их с собой к тебе в гости, и Онегин, Печорин, Обломов, Безухов тоже, вместе с ним, угощались твоим печеньем и не спеша попивали чаек с лимоном. После разговоров с Рыжковым мне все школьные занятия по литературе и все лекции казались просто смешными. Зачем что-то объяснять заумными словами, когда можно просто обмакнуть сушку в чай. И все — вот он, во всех подробностях, литературный процесс!

Иногда Николай Павлович начинал говорить о женщинах — и делал это абсолютно литературно. Ну, допустим, говорит, обращаясь ко мне, шестикласснику: «Ты, конечно, помнишь, как заканчивается “Сентиментальное путешествие” Лоренса Стерна: “Так что, когда я протянул руку, я схватил *fille de chambre* за...” С этого многоточия, — продолжал Рыжков, — начинается, как ты понимаешь, целая эпоха в европейской и русской литературе. И голые локти Пшеницыной в романе Гончарова “Обломов” — из того же ряда. А там недалеко и до Набокова, Бунина, еще и еще...» Николай Павлович и представить, верно, не мог, даже допустить гипотетически, что кто-то еще не читал ни Стерна, ни Набокова...

Был он высоким, худощавым, лунно-седым, с длинными руками и тонкими пальцами, как бы нащупывавшими невидимую ткань истины в ходе разговора. Семейная жизнь Николая Павловича как-то не ладилась. Жена ушла, да еще, насколько помню, квартира была разделена при этом, но главное, но самое-то главное — остался Рыжков без книжных стеллажей, которыми так гордился и среди которых ходил королем. Без книг — это разве жизнь. «Знаешь, Володя, — рассказывал Николай Павлович папе о своих страданиях, допивая десятый стакан чаю и машинально, не обращая внимания на кислый привкус, дожевывая лимонную дольку вместе с цедрой (он почему-то всегда так поступал — сначала пил чай с лимоном, а потом лимоном же и заедал его, и не прищуривал глаза, как будто жевал корочку хлеба), — знаешь, она мне так это объяснила: книги ей нужны, у нее еще могут быть дети, и добавила: “А Пастернака́ я сама люблю читать”. Так и сказала — “Пастернака́”. У меня из головы

это не идет который день, она же из вредности просто...» И пошел бедный Рыжков, без книг, как без воздуха, задыхающийся, по библиотекам. А вместо чаю принялся попить вино, а после и водку. В такие вечера (вся эта драма разворачивалась зимой, в метельные, колко-снежные дни) являлся Николай Павлович к нам, едва уже стоя на ногах, в помятом тонком пальто и грязных брюках, в коричневой шапке, надетой задом наперед, успевал вспомнить несколько литературных анекдотов, после чего падал на диванчик в «темной», как мы ее называли, комнате и мог проспать там сутки. Бабушка моя, Мария Григорьевна, мама мамы, рукой махала: «Что за человек такой паршивый? Не работает, пьет, как будто бездомный». Папа с мамой отвечали: «У него горе, отняли книги, а Николай Павлович — он книжный червь, умница». «Что умница — сомневаюсь, — вздыхала бабушка. — А что червь — нисколечко». И принималась вязать: нет мне, мол, дела до ваших глупостей и странных друзей. В войну она работала на железной дороге, и если бросала клубок, то он катился ровно, как будто по невидимым рельсам. (Бабушка не очень-то одобряла моей рыбацкой страсти, подпитываемой отцом, — испортите ребенка, плохо учиться будет! — но как-то на день рождения сшила специально для меня азбуку с картинками-кармашками для букв: Щ — щука, О — окунь, Л — лодка, В — Волга... И только на П был поезд...)

В кофине книжных переплетов Рыжкову жилось уютнее всего — это точно. Отец русской демократии обретался среди книг, людей, пишущих книги, людей, читающих книги, книги издающих и собирающих, и всех остальных. Именно в такой последовательности. Вскоре он снова женился, трогательно воспитывал сына, в начале девяностых старался поддерживать семью как мог, надолго уезжая в Москву, чтобы «мемуары бандитам писать», как он сам говорил. Да еще на заказ выполнял курсовые, дипломные и кандидатские работы — примерно на одном и том же высочайшем уровне, не замечая между ними разницы, как не замечал различия между хлебной коркой и лимоном. Папа отчитывал своего друга за поденщину, за «развращение студентов», он строго спрашивал: «Когда ты, Николай, сам начнешь писать, для себя, когда возьмешься за рукопись?» Николай Павлович отшучивался: «Гимнастика для ума, еще и еще... А над рукописью я уже работаю, только пока в голове. Вынашиваю».

При том что Рыжков за всю жизнь не поймал ни одного ерша, не сделал ни одного гребка на веслах, не нашел ни одного гриба и вряд ли отличил бы подосиновик от мухомора, в зеленоостровскую жизнь вписался он идеально. У Юрия Ивановича на базе он был совершенно своим человеком, даже сторожа, с высоты практической жизни глядевшие на писательские посиделки, относились к Отцу русской демократии как к ребенку, за которым близ воды нужен догляд. Ну а Рыжков только на острове, в свою очередь, не склонял понуро головы. Где бы ни видел я Отца русской демократии, в каком бы месте города, в каком бы доме ни встречал (кроме Дома книги, конечно), он вечно горбился, будто под неподъемной какой-то ношей. И только

на островных просторах — распрямлялся, точно бы сбрасывал с себя слежавшийся за зиму снег. Может, это потому так получалось, что Николай Павлович и сам был немного островом, отколовшимся когда-то от Большой земли?

* * *

— Пырковы, — встретил как-то Отец русской демократии нас, устало плетущихся по раскаленному песку к дебаркадеру, закусанных комарами, оборвавших все удочки о береговые зацепы, нервных и изможденных, — Пырковы, вы тут, это, еще и еще, где так измотались? Вот же, совсем рядом с причалом, база практически рыболовная, там Олег Лукьянов сторожем работает, а Сидоренко Юра все это дело возглавляет. Там вам и стол будет, и дом, и лодка. Я уж давно на базу повадился, отличное место. И водичка, и мостки, и скамеечки, и заночевать в домике можно. В будни народу не так много. А осенью вообще тишина. Еще и еще...

Значит, счастье было буквально под боком. Мы с Батькой — так звали у нас в семье папу — остановились и переглянулись. А Рыжков продолжил:

— Давайте завтра, со мной, к Юрию Ивановичу, Юра светлый человек, будет рад!

Философ, стоящий на голове

...Вот вам классическое зеленоостровское летнее утро: Олег Лукьянов выходит на мостки, шумно ныряет в воду, смешно отфыркивается, поднимается из воды по лесенке и встает на голову. Так вот прямо, стоя на голове, Олег Максимович спрашивает Рыжкова: «Нет, Николай, ты мне скажи — в чем все-таки были истоки поэзии Гумилева? Ведь как написал-то: “Людская кровь не святее изумрудного сока трав”. А? Как сказал?» И Николай Павлович отвечает откуда-то из-за кустов боярышника: «Не с этого надо начинать, Олег. Тут ведь дело такое, тут без веховцев не разобраться, нужно смотреть на картину в целом — Леонтьев, Федотов, все движение русской философской мысли, еще и еще...»

Надо заметить, что Отец русской демократии умел сплести тончайшие и умнейшие речи из одних почти междометий и разных служебных слов. Любимая его присказка-связка так и звучала, как вы, наверное, уже догадались: «Еще и еще». «Пырковы, — обращался он к нам с отцом, бывало, когда мы собирались на дебаркадер, чтобы плыть домой на последнем вечернем омике, — давайте заночуем сегодня у Юрия Ивановича, все вместе, домики есть... Сейчас сварим уху, посидим, выпьем чаю, побеседуем, еще и еще...» И иногда, признаюсь, мы поддавались на подобные призывы. И действительно варились уха, коптились окуньки (Виталий их коптил, если быть точным, на ольховых опилках), разливался в железные кружки чай, завариваемый Лукьяновым из трав, и всю ночь шла беседа. Обычно я засыпал, когда дело доходило до черной

розы дворянского масонства или до той же, любимой Лукьяновым, «Розы мира».

Олег Максимович, близко друживший с Рыжковым и Сидоренко, очень тепло — с моим папой, был, в отличие от Отца русской демократии, философом-практиком. Если он задумывал книгу, то ее писал, доводил до конца, если замышлял на шахматной доске комбинацию, то проводил ее с блеском. Шахматные баталии Зеленого острова — тема отдельная, особая. В клубах сигаретного дыма ладьи и офицеры превращались в могучих хранителей островной жизни, все играли напряженно, вкладывая, как мне казалось, в каждую пешку какой-то особый литературный подтекст, а побеждал всегда Лукьянов. Сидоренко, лихо ставивший фигуры на доску так, что они не попадали в отведенные им клеточки, восклицал: «Ну, ты, Олег, вообще... Да с тобой же играть невозможно!» Папа пыхтел, закуривал одну за другой, доводил партию до самого конца, до эндшпиля, и у него всегда оставался король и пешка, а у Олега Максимовича — король и две пешки. И отец сдавался. «Эх, опять одного хода не хватило, одной пешечки». Все только улыбались.

Так вот, Олег Максимович наполнял зеленоостровский быт каким-то сверхфилософским деятельным смыслом. Оставили отдыхающие (чудаки-люди!) целую сетку зеленых помидоров — Лукьянов готовит из них ароматнейшую икру, повязавшись цветным фартуком и азартно подбрасывая-переворачивая на сковородке обжаренный лук, по всей базе от этой поджарки дух расходится; порвался у Виталия вентерь¹¹ — Олег Максимович помогает его чинить-штопать; забросало все дорожки желтой дубовой листвой после осеннего урагана-листобоя — Лукьянов метет листья. Да приговаривает еще: «Самая красивая и достойная работа — быть дворником. Самая в литературе почетная!»

О Поэте, метле, листьях и девушке в бикини

Между прочим, о метле и листьях дополнение. Среди прочих философов и писателей заезжал к Юрию Ивановичу на базу один совершенно замечательный человек. Назовем его так — Поэт. Он был великолепно образован, много читал, мог поддержать любую высокую беседу, но имелся у него один недостаток — слишком уж серьезно относился он к своему творчеству, не допускал самоиронии ни малейшей. Природу Поэт любил и ценил, чувствовал ее красоту, мог прохаживаться неторопливо по дорожкам среди дубов и домиков, заложив руки за спину и поглядывая по сторонам. И надо ж такому случиться, что Лукьянов — без всякой задней мысли, конечно, — попросил Поэта помочь ему подмести дорожки: листьев напало за ночь немерено. Надо было видеть Олега Максимовича: по пояс голый, немного, как всегда, взлохмаченный,

¹¹ Вентерь — рыболовная снасть-ловушка: сеть, натянутая на ряд обручей.

с открытой улыбкой, обнажающей несколько железных зубов впереди, с двумя метлами в руках.

— На, держи, поможешь, а то один до вечера буду шваркать! — И тык Поэту метлу прямо в грудь.

А тот, в штиблетах, в аккуратной куртке и модных брюках, постоял, помедлил немного, с удивлением посмотрел на Олега, показавшегося ему тогда, я думаю, дикарем, молча прислонил метлу к дереву, молча зашел в свой домик, собрался и отправился в город, никому не сказав ни слова. И никогда больше не возвращался. Олег Максимович жутко смутился, он вообще не любил обижать людей и ни о ком никогда не говорил плохо, вот философскую концепцию разгромить — дело другое... И Юрий Иванович, которого как раз не было на Зеленом в тот злополучный день, после разочарованно качал головой: «Это ж Поэт, он же, может быть, сочинял в ту минуту, понимать надо, ну ты, Олег, вообще...»

Я тоже, грешен, однажды невольно обидел замечательного человека. Мы с отцом во время грозового ливня — в июне дело было — забежали на несколько минут, переждать грозу, в домик Поэта. Он сам нас зазвал. Я вошел и опешил — повсюду: на кровати, под кроватью, на столе, на дощатом полу — лежали листы со стихами. Даже из кастрюли на плитке выглядывало несколько напечатанных ровных столбиков. И Поэт предложил нам послушать его новое творение — и мы согласились, куда ж деваться, ливень-то никто не отменял. Понимаете, самое смешное заключалось в том, что Поэт был в каких-то совершенно куцых плавках, а мы — в рыбацких своих защитных панцирях. Он читал вдохновенно, сидя на стуле посреди зеленоостровской грозы, освещаемый вспышками молний, практически голый, с черными как смоль, аккуратно подстриженными волосами, и в особенно патетические мгновения взмахивал рукой. «Жаль, что Поэт не девушка, та, в желтеньком миленьком бикини, что бежала от дождя впереди нас! Ну какая же клевая!» — подумал я в ту секунду. Мысль для меня, пятнадцатилетнего, была простительной, я полагаю. И тем не менее я улыбнулся, причем на самом патетически-патриотическом месте. Стих был, помню, о конях, мчащихся по древней Руси и несущих куда-то на своих загривках русских богатырей. Поэт заметил промелькнувшую некстати улыбку, начал читать еще более выразительно, тут вспыхнула самая отчаянная молния, покатился гром, и, чтобы перекричать грозу, автор загремел во всю мощь своего голоса, и при этом загремел со стула на пол. Каюсь, не выдержал и стал хохотать, закрывая лицо руками. Мне было стыдно — но я хохотал. Отец дергал меня за руку — но я хохотал. Не знаю, что на меня нашло, истерика какая-то просто... Поэт бросил читать, швырнул стихи в сторону, помолчал, посмотрел на меня, посмотрел на отца долгим взглядом и проговорил сокрушенно: «Этот юноша, Владимир Иванович, пойдет дальше нас с вами...»

Потом, через какое-то время, Поэт стал первым моим — и лучшим, вполне возможно, — редактором. Стихи Поэта о лошадях, куда-то все мчащихся по древнерусскому полю, напечатал какой-то громкий

альманах в Москве, и все читали и признавали — да, серьезная вещь. Меня же разбирал смех — грешен. Порой мы и теперь видимся с Поэтом на городских улицах, я иду обычно по одной стороне, а он по другой. Все такой же рыцарь литературы — в штиблетах и аккуратной куртке. Только совсем седой. Мы приостанавливаем шаг и уважительно киваем друг другу, разделенные потоком машин и повседневных дел.

* * *

Так вот, Лукьянов тоже не хотел обидеть Поэта. Вообще, об Олеге Максимовиче можно говорить бесконечно. У них с женой, блестящим латинистом Ларисой Михайловной, был доberman Дуглас. Большой, умный, с удивительно глубокими глазами. Дуглас клал голову на колени Лукьянову, а тот его гладил, пока обдумывал очередной шахматный ход. Часто Олег Максимович, в Дугласе просто души не чаявший, повторял: «Как человек!» Дуглас потом потеряется где-то в городе, его, оставленного на минуту возле магазина, кто-то уведет, и Лукьяновы так до конца и не смиряются с этой потерей. «Люди, — напишет Олег Максимович в газете, — верните нашего друга, члена нашей семьи за любое вознаграждение!» И в этих отчаянных словах скажется вся любовь Олега Максимовича к Божьему миру, вся его наивно-прекрасная вера в доброту человеческих сердец.

Лукьянов говорил предметно, он помнил наизусть десятки страниц философских трактатов, ему не нужно было на ощупь пробирать-ся к пониманию каких-то закономерностей — он владел настоящей школой философского мышления. И при этом не был абстрактен, что часто случается с кабинетными философами. На веранде одного из летних домиков стоял цветной телевизор, никто из обитателей базы его не смотрел, но вечерами он как-то сам собой включался и что-то бубнил о политике и погоде. И паук свил паутину в углу экрана. Отец, помню, минуту посмотрев в экран, покачал головой и сказал мне: «Самое интересное во всей программе — вон то тончайшее кружево, присмотришься, какая ювелирная работа, какая гармония, какая мысль. А главное — все правда!» Олег Максимович, случайно услышавший реплику папы, улыбнулся: «Владимир Иванович, ну ты в одной фразе целый роман уместил! Вань, слушай и учись — это целая школа!»

Можете представить теперь, что я слушал и чему учился...

Юрий Иванович — главарь зеленоостровской банды

Из всей этой нашей зеленоостровской банды Юрий Иванович, пожалуй, был наиболее приспособленным к жизни. Не случайно же директор базы! В прошлом спортсмен, с прямой спиной и уверенной походкой, всегда подтянутый, он и рассказы писал сосредоточенно-собранные, в них как бы все время угадывалась планка, которую автору предстоит взять в будущем. Без Юрия Ивановича на базе как-то все

начинало рассыпаться, а когда он появлялся — все снова работало и пело. Сидоренко был осью островной жизни. Как нет Юрия Ивановича, вся наша банда разбредается куда-то по разным углам. Мы с отцом спешно улепетьваем, взмахивая веслами, на рыбалку, Виталий принимается что-то ладить за верстаком, дядя Ваня отправляется на пенсионерские мостки, Лукьянов излагает теорию Бердяева Дугласу, Рыжков ложится на раскладушку, поставленную под дубом, накрывает половину — насколько хватает! — своих длинных ног рваной ватнушкой, смотрит в небо и меланхолично уворачивается от желудей. У него там целый мирок образовался, вокруг этой раскладушки: на траве под ней остывает чай в кружке, которым угощаются уже не без удовольствия муравьи, лежит какая-то раскрытая книга... Не сразу и докличешься Отца русской демократии из его самого просторного и самого свободного в мире логова.

Но как только сидоренковский легкий «Прогресс», завернув с коренной в наш родной заливчик, изящно скользит к мосткам, все вокруг объединяется, склеивается, срастается. И даже Рыжков выходит из книжного забытья. Это так важно, так здорово, когда есть она, ось жизни.

— Да вот, — как бы извиняясь за что-то, говорит Сидоренко, — по пути бросил спиннинг пару раз вдоль камыша, ну и щуку вытащил. Как думаете, на уху хватит?

И поднимает матерую такую щучину со дна лодки. Даже Бредень бы заценил!

У Юрия Ивановича многое получалось с листа, на лету. Он просто брался — и у него все выходило. Решил как-то он завести в домике своем зеленоостровском громадный аквариум во всю стену, поколдовали они с Виталием пару дней — и готово. Зайдешь, особенно в дождик, в ненастье, к Сидоренко, переждать непогоду, а там и чай с вареньем из черноплодной рябины, и разговоры, и — аквариум. Таких громадных я не встречал больше. А населил его Сидоренко речными рыбками и рыбинами, улитками, водоросли посадил волжские, положил на дно причудливые коряжки и разноцветную гальку, насыпал песку, устроил аэрацию. То есть перенес часть волжского залива к себе под крышу! Иному человеку истории с аквариумом хватило бы на всю жизнь, но Юрий Иванович, закончив одно дело, брался за другое. Понтонные, с навесом, широченные мостки для отдыхающих, выходящие на середину залива. Со скамеечками мостки, чтобы можно было прямо на воде встречать восходы и провожать закаты. Сказано — сделано! «Хочу мостки, — запальчиво говорил Сидоренко, — чтоб как солнечная дорожка!»

Тогда, впрочем, он еще, вернее всего, не знал о главной мечте своей жизни, может быть, только чувствовал, предчувствовал ее. Через много лет, так и не покинув Зеленый остров (единственный из всех нас!), хотя и не занимаясь больше базой отдыха, Сидоренко стал знаменитым на всю страну виноградарем. В одном из любимых моих стихотворений Юрия Ивановича выражена надежда, что когда-нибудь можно будет посадить виноград на Луне. Ну, на Луне не на Луне, а вот на песчаной островной почве Сидоренко выращивает виноград удивительный, спецы со всей страны приезжают к нему на Зеленый

обменяться опытом — восхититься да поцокать языком. Один выведенный сорт, кажется, самый насыщенно-терпкий, так и назвал Юрий Иванович — «лунный». И создал невероятное — неземное! — по вкусу «Лунное вино». Лунное вино Беклемишевского!.. Ведь какие луны-то встают над Зеленым островом сентябрьскими ночами, какие дорожки фосфорятся на темной воде!

Я почему-то уверен, что долгие разговоры-беседы с Отцом русской демократии, Олегом Лукьяновым и моим папой помогли в будущем Юрию Ивановичу найти свое истинное призвание, ведь возвращение винограда — это особая философия, особый взгляд на мир.

* * *

Философия, знаете ли, философией, а рыбалка рыбалкой. Иногда, к моему отчаянному негодованию, получалось так, что трудно было вырваться из вдохновенно сплетаемой лозы литературно-философских разговоров на рыбалку. Николай Павлович, Олег Максимович, Юрий Иванович и мой папа любили уединиться под раскидистым древним дубом, усаживались за массивный, основательно сработанный Виталием стол (рыжковская раскладушка стояла чуть поодаль, с краешку ажурной дубовой тени), на котором всегда имелась белая бумага. И говорили, говорили, говорили. «Ну вот, — обронил как-то неразговорчивый, но меткий на язык Виталий, подмигивая мне заговорщицки, — опять островные Сократы собрались».

Я поглядываю на отца нетерпеливо — время-то рыбацкое утекает, утро заканчивается драгоценное, а разговору и края не видно! — папа, в свою очередь, хватившись времени, пытается найти предлог, чтоб поскорее отправиться ко мне, в лодку. Наконец, обыкновенно, он говорит с напускной тревогой: «Николай, там Ваня один в лодке, как бы не перевернулся!» И бежит ко мне, а у меня уж все готово — весла, удочки, черви, прикорм, якоря. У нас было с папой местечко посреди залива, специально нами подготовленное, взлелеянное, мы вытащили граблями водоросли, насыпали на дно несколько ведер чистейшего речного песочку и всякий раз вылавливали там двух-трех здоровенных, темно-зеленых, черноперых линей с золотым отливом. Вот поплавочек мой лежит на воде, едва тревожимый синей рябью и верховой мелочевкой, потом приподнимается, снова ложится, а после уж плавно уходит под воду. Подсекаю резко, и удочка сразу дугой, и я отцу: «Давай!» Это означает на нашем языке, что нужно браться за подсачек, быть готовым к тому, чтобы подхватить где-то там, в воде, среди травы, упрямую сильную рыбину. Ну что, скажите, важнее — «Вехи» или линева поклевка?

«Поплыли, поплыли скорее», — шепчет отец, занимая свое извечное место на носу и оглядываясь на философствующих друзей-писателей. А из-под дуба уже доносится, настигает нас какой-нибудь очередной вечный вопрос. Ну, скажем, что можно считать в «Плаванье к Небесному Кремлю» вымыслом, а что правдой?

В этом нашем с отцом азарте, в этом «Давай!», в якорях и веслах тоже крылась целая философия. Рыбачьи вежи тоже могут быть еще как важны, я полагаю.

Чудо-плотник Виталия

Мне вообще кажется, что на природе, особенно на Беклемишевском острове, в ходу и в чести была философия дела. Вот о Виталии я упомянул пару раз. Знаете, его плотницкий дар перешел как-то и на его образ. Какой он, Виталия? Коренастый, загадочно усмехающийся, мало говорящий, с прищуром, с жилистыми руками, похожими на ветви дуба. Казалось, что все сделанное вокруг было сделано этими корявотатыми ручищами. Ни блеску в них, ни лоску, ни особой проворности. Но денек работы — и вот готов дом на сваях, да на таких высоких и надежных, что ни один паводок не достанет. «На курьих ножках», — широко улыбается Виталия. Или мелочь какая, стлань например. Подержит треснувшую стлань мастер, поврачует руками-ветвями, что-то подобьет, подправит — и стланька новенькая, чистенькая, ладненькая. Вот вам и «мелочь». Для настоящего знатока мелочей не бывает! Как-то Юрий Иванович решил лещей десяточек завялить. Так это ж нужно сколотить здоровенные ящики, обтянуть их непроницаемой для насекомых сеточкой, оборудовать в них все для удобного провеса. Иному — работы на неделю. Для Виталия — на час.

А уж как он мосточки обстругивал, как любил покрасить их, подновить. Дядя Ваня только еще подумал когда-то про «пензионерские» свои мосточки, «со всеми удобствами», а Виталия уже соорудил их. И не за награду, не ради какой-то выгоды, а просто ради самой работы. Если не пел рубаночек, не звенела пила, не шамкала шкурка, — Виталия грустнел, терял азарт жизни. Но случалось такое редко-прередко.

Особый же пиетет испытывал наш чудо-плотник к столам. Скамейки, стулья — это все да, это все замечательно. Но вот столы! Виталия, как я уж обговорился, всегда норовил поставить стол под дубом, как будто подчеркивая этим свою необъяснимую или известную только ему одному связь с могучим деревом. От вопросов отшучивался, обычно так: «Люблю, чтоб желуди по башочке стучали, спать не давали!» Представьте: массивный квадратный стол на толстых ножках, хорошо обтесанный, пахнущий живым терпким деревом. Притронешься к нему в жару — он прохладен. Тронешь его в ненастный день — он сух и тепел. Еще бы такой не полюбить! Он так и тянет к себе, так и зовет. Устраивайтесь, мол, начинайте разговариваться, когда еще так собратиться придется?

Изредка, несколько раз всего, появлялся на базе отец Виталии — тоже плотник. Он был уже очень человеком пожилым, ходил медленно, опираясь, как сам говорил, на «бадик». Когда он видел рожденные плотницкими трудами сына столы, стулья, скамейки, домики на высоких сваях, удовлетворенно качал головой. А иной раз кряхтел сердито — нет, мол, не тот уголок взял, тут бы пониже, а тут — повыше... «Стол хорош, а табуреточку можно и брежнее сколотить». Виталия заверял,

что поправит, и становилось понятно, что за умелец учил и все еще учит его волшебству плотницкого труда. «Я что, — улыбался потом Виталья, — я так, тят-ляп топориком машу, а вот батя мой иного ранга мастер. Действительно мог чудеса с деревом творить». Да, Виталья, дорогой, наши отцы — богатыри, не мы...

...Из Ленинграда к Юрию Ивановичу приезжал известный кинорежиссер. В маленьких круглых очках с длинной аккуратной бородкой. Каждое лето. В августе. Ровно на четырнадцать дней. Каждое утро он шел на веслах к фарватеру, чтобы поймать одного леща. Он не гонялся за стаями скользких подлещиков, не любил бойкую стрежневую густерку или сопу, нет — ему нужен был один матерый темно-золотой лещ. С самой глубины. С самого течения. Он ловил свою рыбину, приплывал на базу уже к вечеру, показывал рыбину каждому встречному с вопросом: «Как вам кадр?» И отправлял улов просаливаться в бочку под гнет, и садился отдыхать за Виталькин стол под дубом.

Сначала к нему присоединился Олег Максимович Лукьянов, потом дядя Ваня, потом Юрий Иванович, потом и мы с отцом, если оставались на ночь. Августовские звезды разгораются быстро, созвездия проступают одно за одним, отражаясь в стихшем, замгнувшем¹² заливе, все набрасывают ватнушки — ночью у воды зябковато. Является вскипяченный с шиповником чай — Олег Максимович был знатоком и ценителем шиповника.

Кинорежиссер обязательно подливал в свою чашку коньячку и произносил с каким-то непередаваемо-загадочным выражением:

— Вы даже не знаете, насколько Зеленый остров кинематографичен. Даже не знаете. М-д-а-а... Я всякий раз как будто бы попадаю здесь в фильм о своем детстве, который еще не снял и, может, никогда и не сниму. М-д-а-а.

И пока чай дымится в жестяных кружках, чуть остывая, начинаются обсуждения мировых философских тем — то Платон выглянет из-за дуба, то Аристотель зашелестит в листве, то Пифагор начертит на небе горящую формулу, то покажется силуэт Дон Кихота, то Цицерон сверкнет глазами: недаром же у Лукьянова жена — латинист выдающийся. Когда, кстати, Лариса Михайловна Лукьянова читала на латыни стихи Овидия, уважительно смолкали, познавая, видимо, свою ограниченность, обычно бойкие и настырные зеленоостровские комары. А порой, бывало, то ли рванный ватник Отца русской демократии, то ли пугачевский тулупчик мелькал в зарослях боярышника.

Какие планы строились, какие имена назывались за Виталькиным чудесным дубовым столом: Даниил Андреев, Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Николай Гумилев, Сергей Эйзенштейн...

И я, уставший после рыбалки безмерно, едва ли не спящий на ходу, видящий перед глазами поплавок, который утягивает под лист кувшинки непостижимо прекрасный и желанный линь, все-таки чувствовал, как срастается она — человеческая мысль, как обретает форму и вес.

¹² *Замгнувший — задремавший (диал.).*

Особенно в звездную августовскую ночь. Особенно за дубовым Виталькиным столом под открытым небом.

* * *

Утром выходим с отцом из домика, а на столе, под тем самым дубом, лежат забросанные желудями белые листы. Рядом стакан давно остывшего, недопитого, крепкого-прекрепкого шиповникового чаю. И только одно слово выведено на бумаге большими твердыми буквами: «РАССКАЗ». Мне отец говорит:

— Запомни эту картину, и желуды, и чай, тут, видно, всю ночь шла работа, мы-то спать ушли, а люди перебирали сюжеты, искали образы, планировали раскадровки. И какая у бумаги содержательная белизна, не то что в какой-нибудь папке. Или там кабинете. Если на бумаге нет слов, это не значит, что она пустая.

Да, Николай Павлович Рыжков так и не написал книгу, хотя собирался до конца жизни. Он так и остался литературным проводником, а Зеленый остров, вполне может быть, так и остался лучшим в его жизни местом обитания. Местом свободы мысли и духа.

И когда я думаю об Отце русской демократии, да и обо всех островных Сократах, и о папе своем тоже, то представляю их всех за чудо-столом, сработанным великим умельцем Виталькой, за степенной философской беседой, звездной августовской ночью, под древним дубом, роняющим тяжелые желуды.

Запомнил, папа, запомнил...

От «ерша» до «кефали»

— Давайте завтра со мной к Юрию Ивановичу, Юра светлый человек, будет рад!

Мы соглашаемся. Мы внутренне ликуем. Мы нетерпеливо ждем завтрашнего утра.

Но не все так просто да гладко. Пути рыбацкие сложны и непредсказуемы. Да, на Зеленом мы долго маялись без лодки. И вообще без своего, родного, пристанища, где тебя всегда ждут, где тебе всякий рад. И потому, быть может, первый же выход на лодке с уютных, сработанных Виталькой, конечно же, мостков зеленоостровской Мекки превратился для нас в нелегкое, скажу так, испытание.

А дело такое вышло. Ну, привел нас Отец русской демократии на базу, к гостеприимному Юрию Ивановичу, познакомились мы со всеми сторожами-хранителями здешней гармонии и попросили лодочку. Мы — это я, папа, мама и брат мой Саша, заядлый, как я уж говорил, спиннингист.

Нам четверым сразу же предложили две большие, устойчивые, ходкие лодки — «кефали». Но надо было знать моих родителей, привыкших вести себя скромно. Даже более чем.

— Нет, — замахал руками отец, — мы же далеко не поплывем, мы тут, в маленьком заливчике, рядом с мосточками. Так что нам этой железенькой лодочки хватит.

И показал на кургузую, действительно отнюдь не деревянную лодочку. Как только не уговаривали моих сесть хотя бы в одну просторную «кефаль», какие только доводы не приводили. Всё зря.

— Ну, дело ваше, Владимир Иванович, — пожал плечами Виталя. — Берите своего ненаглядного «ерша».

Оказалось, что так прозывалась приглянувшаяся папе кургузая и куцая, правда на ерша похожая, лодочка-жестяночка.

Два слова буквально о психологии. Такой зеленоостровский отступ. Для рыболова без лодки, свыкшегося уже с трудностями береговой ловли, с всеми этими топиями, зарослями, колкими кустами, зацепами, комарами, всякая держащаяся хоть как-нибудь на воде соломинка — что лодка. Цыганова «бударка» — что небольшой корабль. Поэтому, я думаю, неудобный «ерш» показался папе и верхом комфортабельности. Мама согласилась: а вдруг наедут отдыхающие, а мы чужие лодки занимаем. Нам, правда, и «ершика» хватит. И только Саша, всегда имеющий свое мнение, заикнулся было, что, может, ему, как спиннингисту, разумно было бы занять удобную «кефаль», однако его инициатива не нашла поддержки.

И мы действительно, как есть вчетвером, разместились в двухместной (если честно, в полутораместной) посудинке.

Мы отплываем, мы торжествуем, мы обретаем свободу. Больше нет береговых коряжистых ограничений, все водные пути открыты!

Я на веслах, отец на носу, Саша и мама на корме.

— Главное, термос не забыть, — в очередной раз напоминает отец, с каким-то особенным пиететом относящийся к старенькому, облупленному, но очень вместительному и все еще отлично держащему температуру термосу. — С таким термосом любая жара нипочем!

Грести тяжело, нос «ерша» то и дело норовит забраться в воду, железное дно и борта угрожающе быстро нагреваются на июльском солнце.

Подплываем к водной траве. Отец бросает якорь с носа.

— Нэля, Саша, — говорит, — теперь корму заякорить нужно.

Саша осторожно опускает якорь в воду, и он быстро тонет, утягивая за собой обрывок слишком короткой для пятиметровой глубины веревки. Она, извиваясь, неумолимо исчезает где-то там, среди упругих кувшинковых стеблей.

— Почему корму болтает? — недовольно спрашивает отец. — Подкармливать нужно одну точку, а нас то туда, то сюда по воде водит. Саш, натяни веревку потуже.

— Не могу, — флегматично отвечает Саша. — Якорь на дне.

— Я знаю, что на дне. Ты веревку подтяни просто.

— Да нет, совсем на дне. Вместе с веревкой.

— Утопил?

— Утопил...

Саша не любит признавать ошибок, стоит на своем до конца. И потому победоносно добавляет:

— А для блеснения даже лучше, что вертит: можно разные места облавливать.

— Ваня, ты почему не проследил? — негодует отец. — Ну этот, блеснильщик, с ним-то все ясно, но ты же опытный человек. И опять карку раскрыл!..

Последний аргумент задевал действительно за живое. Обидно, знаете ли...

— Не трогай ребенка, — вмешивается мама. — Мы же отдыхаем просто. Вон сколько воды — лови хоть с этого борта, хоть с другого. А я постелю что-нибудь на дно и прилягу. Позагораю...

— Я тоже загорать решил, — поддерживает идею Саша. — Сейчас только вон под те тростники воблер заброшу, щучку возьму, и прилягу. А вы ловите свою шелупень.

Саша, длинными своими руками, делает могучий замах, воблер, вооруженный парой острых тройников, злобно впивается в рукав моей ветровки. Я резко подскакиваю и задеваю стоящий рядом на узеньком лодочном сиденьице термос. Как будто в замедленной съемке (кинорежиссер-лещатник, с которым мы пока незнакомы, внимание!), начинает он качаться. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. И, не найдя равновесия, все-таки падает. Прямо на железное дно.

— Ой. — Откуда-то из-под лавки приподнимается мама. — Тут, кажется, что-то разбилось.

— Как разбилось? — переспрашивает отец, не желая верить в случившееся.

— Вдребезги, Володя. Колба будто взорвалась...

Папа молчит какое-то время. Смотрит на синюю воду залива, на веселую летнюю рябь. И вдруг с облегчением говорит:

— Ну и ничего. Он все равно старым был. Новый надыбаем где-нибудь. Ваня, ты мне червячков передай, они там, рядом с тобой, в мешочке. Я успел подкопать пару десятков.

Я оглядываюсь, припоминаю, что мешочек и правда был под рукой. И с ужасом понимаю, что задел рукой не только термос, но и мешочек. Тоже любимый Батькин. И он упал в воду и, видимо, тоже оказался на дне.

— Пап, а давай на тесто, а? — как можно жизнерадостнее спрашиваю. — На твое любимое тестцо?

Следует пауза. И повторение пройденного.

— Утопил?

— Утопил...

— Давай тестцо, ладно. Половим белёшки.

— Сейчас, — откликаюсь еще жизнерадостнее, а сам понимаю, что тесто оставил дома. Перед выходом Батька напомнил взять из холодильника замешенное им с вечера тесто на меду и с ванилью. А я забыл.

— Тесто дома осталось, — говорю прямосердечно. — Давай на хлебешек.

Батька ничего не отвечает, оценивая масштаб катастрофы.

— Нэль, — обращается он к маме, — сильно жарко?

— Совсем, Володя, сварилась. Зря мы от большой лодки отказались...

— Давайте так. Сейчас поплаваем по заливу, Саша побросает спиннинг, выловит окуня или щуренка, и — домой.

Мы так и делаем. Саше попадаетесь неплохая щука. Батька хвалит прозрачную воду. Я быстро гребу, хотя четыре человека для «ерша» — многовато. Потом, уже на берегу, купаемся, обсуждаем, какая рыба на каком месте стоит. Саша полон надежд: щуки здесь немало, Батька утверждает, что наметил три-четыре линевого окошка, мама подставляет ветерку с воды усталое лицо. Все наперебой твердят, что устали и что пара дней отдыха от отдыха необходимы.

Плывем в город вместе с Рыжковым — на барже. Николай Павлович все поглядывает на пятнистый щучий хвост, выглядывающий из рюкзака.

— Коль, держи щуку, — не выдерживает папа. — Уху заварить дома.

— Ваня, — окликает он меня тихонечко. — Давай завтра вдвоем на базу рванем. Я опять тестца замешу (только уж не забудь). По пути купим в киоске газет сторожам, а то Игорь Дмитриевич, мне показалось, косился на нас подозрительно. А вообще тут так красиво. С природы можно будет писать — представляешь? Видел, какие дубы на берегу? А под дубом прямо скамеечка ладненькая и стол. Здорово! И лодок, главное, полно. И якорей целый набор. И весла отличные, легкие на взмах. Ты греб — я залюбовался. И не табанил. Молодец... Возьмем лодку настоящую, «кефаль». С самого утра встанем на глубинку. Подкормим точку. Хорошие поклевочки увидим, поговорим с водой. Поплывешь со мной?

— Еще бы, — соглашаюсь радостно. — Подкормки сделаем сейчас, червячков прямо утром в тростниках копнем, и в линевого окошечко, что сегодня присмотрели...

— Мам, — жалуется подслушавший разговор Саша, потирая обгоревшее совершенно плечо. — Эти маньяки завтра опять собрались.

— Пусть их, — улыбается мама. — На лодке так все-таки хорошо... Только уж, пожалуйста, не на «ерше»...

* * *

И завтра, и послезавтра, и еще долгие годы — жаркими летними полднями, майскими ветренными утрами, осенними, заколдованными тишиной вечерами — мы отражались в воде зеленоостровских заливов и протоков. Мы плавали по большим волнам в бури, мы выходили на фарватер, мы забирались в самые дальние, заросшие чаканом уголки здешних вод. Мы слились с Зеленым, породнились с ним навсегда.

Плывем, помню, домой на барже, и радостно-радостно сердцу: сейчас будем готовиться с отцом к завтрашней рыбалке, а утром уже — снова на Волгу, снова на Зеленый!

Но больше всех, пожалуй, радовался Рыжков, укладывая рыбину в сумку. Саша, видно по всему, не очень-то хотел расставаться со щукой — первой своей зеленоостровской добычей.

Да что поделать — в зеленоостровском свободолюбивом мире не заимели бы мы ни лодочки, ни пристанища без него — незабвенного Отца русской демократии.

«Еще и еще...»

О вокругостровном путешествии

Николая Рыжкова

Николай Павлович Рыжков, хоть и привел нас в рыбацкую зеленоостровскую Мекку, за всю жизнь не поймал ни одного ерша и не сделал ни одного гребка на веслах. О том уж речь велась. Но у каждого правила есть исключение, как известно. Поэтому уточню: ни одного *правильного* гребка на веслах...

А с *неправильного* весельного гребка начинается история удивительного рыжковского открытия, о котором и расскажу все, что знаю.

Чудесным весенним деньком, лирически слушая на своей раскладушке под зеленеющим дубом соловьиные трели, Отец русской демократии вдруг что-то понял. Лучше бы, наверное, он этого чего-то не понимал, а продолжал оставаться в философски-напряженно-благоговейном неведении. Но он понял. И вскочил со своего импровизированного лежбища. И обратился к кому-то лишь ему в это мгновение видимому и слышимому:

— Я еще никогда не *ходил* на лодке. Что? Я не сумею? Тогда зачем же я прочитал столько книг? Нет, я сумею, я смогу! Виталий, какие мне взять весла покрепче — я *пойду* в путешествие!

Соловьи тревожно приумолкли. Лягва, надрывающаяся где-то на подтопленной прибрежной кочке, прервала свой концерт на самом мелодичном полукваке. Баклешки перестали гонять в заводи хлебную корочку. Мотор, который, как всегда, чинил Вениамин Петрович, поперхнулся от страха. Олег Лукьянов в один прыжок вскоканул с головы на ноги. Дядя Ваня, забрасывая удочку из-под тенистого дерева, зацепил крючок за самую высокую и гибкую ветку. Нина Кирьяновна, впервые в жизни, выронила из рук стопку только что вымытых тарелок.

И все жители нашей маленькой Мекки, все обитатели благословенного пяточка зеленоостровского мира посмотрели, не сговариваясь, на Рыжкова.

Понимаете, страшен был не сам порыв к путешествию, нежданно-негаданно обуявший Отца русской демократии. Нас больше напугали незнамо откуда взявшиеся залихватские морские словечки в его пламенной речи: «Пойду на лодке!» До шуток ли? Да, все это взялось из книг, конечно. Но мало ли о чем читал Николай Павлович? И что теперь — все воплощать в жизнь?

А Николай Павлович тем временем уже, как бы это точнее сказать, воссоединил, с двенадцатого примерно раза, весла с уключинами, пристроил на корме и на носу по здоровенному доброму якорьку с примотанными веревками, взял поданный предусмотрительным Виталей спасательный круг, а удочки, насадки и все прочее, необходимое для ловли, в лодке всегда имелось. И самый уловистый Виталькин вентерь, самолично им сделанный за долгую зеленоостровскую зиму, под кормой был заныкан.

— Николай Павлович, — советовал добрый Виталий, — ты как к камышу привяжешься, вентерек расправь и под камышик молоденький опусти. Только привязать не забудь. А поплывешь назад — там линь, глядишь, и заплутается.

Отец начал было уговаривать Рыжкова, деликатно, мягко, как он это умел: мол, садись лучше в лодочку с нами, места хватит, мы с Ваней и удочки тебе снарядим, и поможем...

— Вот! — Высоченный Рыжков поднялся на ноги, отчего его лодка чуть не захватила бортом воды. — Вот этого мне и не надо. Понимаешь, Володя, я хочу сам пройти на веслах, сам найти место, сам наловить рыбы, сам сварить ухи.

Он подумал, помолчал немного и с проблеснувшей в глазах надеждой добавил:

— И накормить ухой всю базу!

И что только вселилось в смиренного нашего Николая Павловича? Как будто не вчера еще вечером вся база, включая Рыжкова, с трудом доедала уху из огромного сазана, добытого Юрием Ивановичем. Все сыты, рыбы довольно. Почему понадобились вдруг такие отчаянные меры?

То неведомо. Есть, я так полагаю, повороты в жизни, особенно в жизни на воде, которые не нуждаются в объяснениях, не поддаются логике. Так случилось, так вышло. Вот и вся логика. Баста!

И свершилось оно, знаменательное событие: Николай Павлович Рыжков сделал первый в жизни гребок на весельной лодке. При этом одно весло немедленно вылетело из завизжавшей от ужаса уключины. А второе, воткнувшись в илистое дно, встало колом. Но Отец русской демократии и не собирался сдаваться. Через каких-нибудь четверть часа он уже более или менее размеренно, хотя и вихляя спиной, и табаня без нужды то и дело, греб к середине нашего заливчика...

Тут надо отвлечься немного и поведать, что именно представляла из себя карта близлежащей акватории.

Маленький залив, на берегу которого обжились друзья Юрия Ивановича и прочие отдыхающие, коих всегда хватало в избытке, соединялся узенькой проточкой с большим заливом. Мы с отцом больше всего любили наш тихий, спрятавшийся от лишних глаз и почти что недоступный бесцеремонным катерам и моторкам заливчик. В заливе большом шла настоящая навигация, там и утюжок мог пробраться, пуская высоченную волну, и баржа, и катер. А уж за большим заливом

пролегла Коренная. То есть сама Волга, ее фарватер. Впрочем, сторожа, тот же Виталя, или бывалые лодочники, тот же Вениамин Петрович, звали всю эту систему несколько пренебрежительно: первое болото, второе болото и третье болото. Почему и русло Волги подпадало под такую вот обидную номинацию? Да потому, что заболачивалась Волга год от года все сильнее, все ярче цвела, все чаще зарастали песчаные чистейшие отмели водной травой, тиной, заиливались ямы, глохли родники. Вот оно и болото. И это не ругательство было в устах волгарей, не презренное словцо, а печальная констатация факта. Может быть, даже крик о помощи?

Но мы отвлеклись немного.

— Коль, Николай! — кричал вслед своему другу папа, пытаясь хоть как-то образумить его. — Рыбачь здесь, вон у тех камышей, там отличные караси нам с Ваней на днях попались. Только в большой залив не плавай.

— Не переживай, Володя, не поплыву, — отзывался уже издали Отец русской демократии. — Я сразу на Коренную решил!

Прям не Отец русской демократии, книжный человек, а капитан дальнего плавания Савельев.

Посоветовались мы меж собой, покумекали. Юрий Иванович успокоил: все обойтись должно, говорит, спасательный круг есть, говорит, лодка хорошая, да и человек уж взрослый, говорит, все понимает.

Ну вот. Сидим с отцом в своих тихих камышиках, прямо на самой базе, у мосточков привязанные, плотвичек потаскиваем, окуньков. Отец какую рыбу ни поймает, все головой качать начинает сокрушенно: ловил бы с нами, ну как хорошо, как спокойно. Рыбачили бы, разговаривали... До чего ж упрямый! А про Коренную он ведь пошутил, как думаешь?

— Конечно, — отвечаю, чтобы успокоить отца. — Кто ж на фарватер по такому течняку сунется?

Кто?.. Кто?.. Известно!

Прошел час, прошел почти и весь день — нету Николая Павловича, не возвращается. И кликали его, и звали — молчание в ответ. И спрашивали рыбаков, что из большого залива приплывали, — не видали, говорят, такого мы чудака, не обратили внимания.

Тут и Виталька встревожился не на шутку — он-то коварный норов весенней воды знал преотлично. Сели они с Юрием Ивановичем в «Прогресс» и помчались на поиски новоявленного нашего философа-путешественника.

Через час где-то возвращаются, медленно так к берегу идут. А уж темнеть начинает полегонечку, к девяти вечера дело.

— Вот, — поднимает над головой Виталя какую-то треснувшую палку.

— Что вот? — хватается за сердце отец.

— Обломок весла нашли. Кажется, с нашей лодки.

Наступает молчание. Слышно только, как надрываются в кустах соловьи, стонут лягушки, гудит комарье и мягко плещется вечерняя рыба.

Отец, чувствую, хочет что-то сказать, предложить план дальнейших действий, возможно. Но в эту секунду слышится знакомый всем нам голос. И не с воды, а с берега доносится он.

— Так значит, хотел выйти я на Коренную, — принимается рассказывать с полуслова свою историю Николай Павлович, точно бы мы его уже второй час слушаем. — А меня вода почему-то все в тростники толкает, я веслом от тростников оттолкнуться хотел, еще и еще, а оно пополам...

Перед нами стоял действительно Отец русской демократии — только обгоревший на солнце, в порванной рубашке, весь в песке и тине, с дрожащими от слабости руками и подгибающимися ободранными коленками.

— Николай Павлович, ты где был-то? — строго спросил Юрий Иванович. — Мы ж все окрестности с Виталей пропетляли, все протоки, все чаканы облазили...

— Ну вот я и говорю, — продолжал держать ответ Коля, невозмутимо прикуривая отцовский «Космос». — Оно пополам, еще и еще... И я на одном весле вдоль камыша пробрался к большой воде. Смотрю — город видно, значит, мыслю так, не пропаду, наверное. Робинзон же не пропал, в конце концов. Тут мужики на моторке проплывали. Куда, спрашивают, на честном слове и на одном весле путь держишь? Ну я им и говорю: на базу такую-то, еще и еще. А они: «Эх как! Тебя, слышь, течение круговое вокруг острова обернуло. Вон, говорят, видишь на косе — это зеленоостровский... Забыл слово, ну, баркас, что ли...

— Да дебаркадер, дебаркадер, а не баркас, — поправил Отца русской демократии Виталя.

— Вот именно, дебаркадер. И они меня зацепили и прямо к дебаркадеру доставили. Я лодку там привязал, по трапу на берег сошел и на базу вернулся. Представляете, — победоносно поднял Коля свой длинный дрожащий артистический палец, — так мое личное кругосветное путешествие свершилось.

— Не совсем кругосветное, — счастливо улыбнулся отец, потому что от сердца отлегло наконец-то. — Не кругосветное, а кругоостровное!

Все засмеялись, стали ухаживать за Николаем Павловичем, ставить ему на лоб компрессы от солнечного ожога, кормить и поить его; только Виталя, перетащив с дебаркадера через мокрый песок лодку на базу, грустно поинтересовался:

— Что-то стланей не нашел, а хорошие были, сам сколачивал... Да и где же вентерь?

— Этими самыми, сланями, — неправильно, на какой-то свой, литературный лад назвал Рыжков важнейшую часть лодочного состава, — я греб, когда весло вырвалось. Но их почему-то тоже из рук течением выхватило. Раз — и нет! Зато с вентером все в порядке, — оживился Николай Павлович. — Я подумал, скучно, что всё линьки да карасики в вентерь заходят, пусть сом зайдет. Ведь обещал же всех накормить рыбой? Вот и опустил его прямо посередине Волги, когда меня мужики

буксировали. Только я ни к чему его не привязал... Ну это ведь ничего? Ведь сом зайдет, как думаете?

Прямо не хуже Саши в первый наш зеленоостровский семейный выплыв на «ерше».

— Ничего, ничего, — отвечал еще более погрузневшим голосом Виталья. — Обязательно зайдет, куда ж он денется... Посоветуюсь с Бреднем, может, как-нибудь и подыдем?

С того самого дня Николай Павлович никогда больше не садился в лодку, считая свое вокругостровное путешествие состоявшимся.

А Виталья, щедрый волгарь Виталья, никогда больше не оставлял под кормой лодок свои уловистые самодельные вентера. И стлани после рыбалки уносил в кандейку...

Беклемишевский батл. Шуба против Генерал-майора

Сколько разбилось сердец об ее капризный характер, сколько погубилось душ ее недосыгаемо-серебряным блеском! Жаркие окуни? Благородная радужка судачьего жира в ухе? Скользкие лещи-подлещики, может быть? Нет. Нетушки. А может — щука с темным пятном и янтарным глазом? Ни за что на свете. Ни за какие коврижки. На первом месте только она — владычица зимних волжских заливов, королева зеленоостровских подледных владений. Только она — плотва, сорожка, сорожечка, сорога.

Это летом, в рыбный ход, становится небольшая белая рыбка вполне себе рядовой, в какой-то мере просто бросовой. «Частик...» — презрительно ворчат сетевики-промышленники. В полуденный июльский жар, среди всеобщего солнечного праздника, серебряный блеск сорожьего бока тускнеет, и растворяется, и сходит на нет. И правда — рыбка как рыбка, ничего особенного. А вот зимой...

Еще затемно притаскиваются рыболовы-подледники к заветному своему местечку, где скапливается, на кромках глубоких зимовальных ям, хитрая и деликатная рыба — сорожка. Иной раз, правда, называют ее неловко «краснопер», но это люди несведущие, залетные, а настоящие зеленоостровские старожилы никогда так не скажут, ведь «краснопером» называется любая, по сути дела, белая рыбешка. Точнее, вернее, надежнее и уважительнее другое словцо — сорога. Или, нежнее, сорожка. Сгодится для беглой речи и такое — сорожняк. Плотва, плотвица, плотвичка — это, скорее, сугубо книжное прозвание.

И вот декабрьское предновогоднее утро. Светает нехотя, и сразу же, по одной только серо-белесой полосочке у горизонта становится понятно — день будет пасмурным, непроницаемо-свинцовым. С севера начинает потягивать пронизывающим холодом, вот-вот разойдется неприятный, упрямо лезущий за воротник снежок. Но рыболовы не унывают. Они шутят, переговариваются, побряхтывают, достают плащ-палатки, с надеждой сверлят лунки, разворачивают удочки.

Наши с отцом любимые — «москвички», с круглыми колпачками, привинчивающимися к легкой ребристой ручке. У других — «кобылки». Гениальное, по-моему, изобретение: вырезанные вручную из пенопласта, «кобылки» удивительно просты и удобны в работе, леска наматывается прямо на корпус, мормышку тоже удобно втыкать в пенопластовое тело. Жаль, вышли они из рыбацкого обихода теперь. У некоторых, впрочем, видны в руках миниатюрные удильники-«телефоны», с длинными тонкими подсечками. И все же по мне — «москвички». Только с одной важной модернизацией. Заводскую подсечку я всегда менял и меняю (так отец меня научил) на высушенный рогаз, с которого нужно убрать пух. Подсечка получается гибкой, практически не ломающейся, легкой, да и просто приятно ловить на природный материал. «И так снег, а ты еще пух пускаешь», — сердятся обычно рыболовы, понимающие красоту, но не любящие признавать этого.

Отец выдумал когда-то и еще целую кучу всяких новшеств. Например, ловля рыбы на шарик. Берется пробковый материал, и напильником обтачивается, и шлифуется долго-долго, как будто бы философский китайский шар. Ну, шарик, скажем так. Наконец, обретает он идеальную форму и как-то по-особенному играет в воде, ходит в ней упруго и мягко. Отец обожал такую ловлю и всегда перелавливал самых умелых мастеров своим неказистым шариком. Важно, что шарик под тяжестью мормышки опускался глубоко-глубоко в воду, так далеко, что едва был виден, и совершал в толще воды нужные колебания, вызывающие из глубин самых крупных рыб. Нужно было сидеть над лункой и внимательно всматриваться в нее, точно пытаясь разгадать главную истину. И в это утро папа был со мной и ловил, как всегда, на шарик, пристально вглядываясь в философскую глубину лунки.

— Снег, кажется, будет, — подбадривая себя и товарищей по рыболовному счастью-несчастью, нарочито весело говорит Шуба. — Самая сорожья погода.

«Шубой» зовут его потому, что на нем всегда одна и та же одежда, включая и какой-то совершенно ужасный по виду шубняк.

— Сейчас подкормим, — продолжает он, шерудя в лунке длинной шумовкой и размешивая таким образом круто сваренное пшено со жмыхом, чтобы оно охотнее шло ко дну, — и вся сорожка наша. Так... и так... Вот какой колобочек пахучий вышел. Сам бы ел.

— Ну так и ел бы, — ворчит в ответ Генерал-майор. — Не спалось тебе дома, нет сам бы потащился, так он еще и меня за собой увязал. В такой снежище.

Шуба оправдывается:

— Я радио вчера слушал, прогноз погоды. Облачно с прояснениями, небольшой...

— Небольшой! Ты по сторонам бы поглядел...

Генерал-майор и Шуба — друзья-враги. Они всегда приходят на ловлю вместе, ставят свои палатки рядышком, всегда вместе уходят и всегда подначивают друг друга. Со стороны кажется, что они вот-вот раздерутся, но знающие люди только усмеваются, слыша их вечную

перебранку. Бывают соседи по лодкам, а бывают — по лункам! Шуба — человек заводской, все снасти у него грубые, глубомер чуть ли не на веревке, лески толстые, поплавки большие, лунки огромного диаметра, будто ловить он собирается пудовых рыбин. Кажется, что на салазках он возит за собой по заснеженному льду токарный станок. И вещает он громко, на всю Волгу, все равно как если бы старался перекричать заводской шум. Такой громогласный оптимист.

— Четыре с половиной метра, самое то! Посадим мотыликов кисточкой, чтобы хвостики шевелились. Вот... Наверняка сейчас клюнет. Ага-ага, уже шаволит.

Любимое словечко Шубы — «шаволит». Ну, то есть начинает тихонечко шевелить поплавочек, трогает насадку.

— Что там у тебя шаволит, — ворчит Генерал-майор в ответ. — Это ветер или течнячок. Для клева еще рано.

— Говорю же — шаволит, прям потянуло поплавок. Думаю, сорожка обсасывает.

— Кто там что обсасывает, чудило? Обсасывает у него — ты на себя-то погляди, к твоей шубе ни одна рыбка не подойдет и за версту и на коленки к тебе не подсядет, даже и не надейся, сидел бы уж со своей бабкой и не высывался...

Тут Шуба делает резкую подсечку, как-то весь вскидывается и кричит победоносно-коротко:

— Есть!

— На жопе шерсть! — вторит ему Генерал-майор, внимательнее, сосредоточеннее, правда, поглядывая на свои поплавки кривым глазом. Злые языки не случайно называют его иногда Кривой.

— Идет, идет, — комментирует свою добычу Шуба, осторожно перебирая в руках путающуюся на снежном ветерке леску.

Вся группа с интересом следит за вываживанием. Кое-кто делает предположения: «Густерка... Да нет, сорожонка, поди. Для лаврушки здесь мелко. А может, матросик? На прошлой неделе окушок-то брал неплохо». Наконец, из лунки, из огромной Шубиной лунки, рассчитанной на пудовую добычу, торжественно извлекается... ерш. Даже не ерш, между нами-то говоря, а так, подъяршик. Он обреченно-уныло болтается на обмерзлом поводке. И без того серое утро делается еще неприветливее. Все неуютно поеживаются, разочарованно покашливают, со смачным раздражением сплевывают на снег. Зависает зловещая тишина, сквозь которую отчетливо слышится, как сухой недобрый снежок шелестит по брезенту плащ-палаток. Но Шуба не отчаивается и теперь.

— Задел для ухи есть! — кричит он себе под нос. — Без ерша — что за ушица. Пусть ершишек пару десятков возьму и, самое меньшее, пять сорожек. Я так решил — пяти хватит. Пять сорог — улов серьезный.

— Ты одну для начала поймай, балабол, — машет рукавицей Генерал-майор. — Облачно с прояснениями. Радио он слушал. Сам что радио... Такой вот беклемишевский батл — Шуба против Генерал-майора.

Рыболовы на какое-то время перестают обмениваться колкостями и замирают над лунками.

Тут надо объяснить, что такое лунка. Нет, нет, не знатокам зимней рыбалки, конечно, поскольку последние и сами смогут рассказать о луночке лучше моего. Но для тех, кто никогда на зимней рыбалке не был, — мой маленький отступ. Представьте ледяное плато, замерзшая река, белое безмолвие. И когда верткий коловорот с хорошо заточенными ножами пробуривает скважину во льду, когда шнек ледобура достигает уровня незамерзшей воды, образуется синее круглое окошечко. Маленький иллюминатор в лето. Да-да, иллюминатор. Кругом вьюга, снежная целина, а вы, представьте себе, создаете своими руками окошко в волшебный живой мир и смотрите в это окошечко целый день. Вода зимой всегда особенно прозрачная, и если склониться над луночкой, то на небольшой глубине увидишь разноцветные камушки гальки, причудливо извивающиеся на течении водоросли, таинственные тени рыб.

Лунку нужно ревниво оберегать от мороза. Если холод не шибкий, хватит и обычного кругового движения черпаком. Если морозик задорный, то время от времени лунку лучше обрубать по краям, расширять, чтобы водное поле не сужалось, чтобы солнышко в воде играло. А вообще на морозе о лишнем не думаешь, быстро слетает с тебя все наносное, и разговор касается главного — где и как согреться, когда потеплеет, под каким берегом от ветра лучше закрыться, где новую луночку для согрева лучше пробурить.

Лунки бывают разными — светлыми, с изумрудно-зеленым срезом льда по краям; темными, загадочно-непроглядными; удачливыми, такую стоит только сделать, и сразу ясно — кивок зимней удочки в ваших руках отчаянно щелкнет от окуневой атаки; бездарно-пустыми — глядишь на нее и видишь: нет, не будет от тебя толку, разве только зацепом разживешься или пустыми подергиваниями мелочевки. Если ловите вы под кустами, под заросшими ярами, то в лунке будут отражаться ветви деревьев, береговые очертания. Что греха таить, рыбацкая наша жизнь вся как есть отражается в ней, в луночке.

Истинные рыболовы относятся к лунке как к женщине. Они могут понять, почувствовать, даже полюбить ее. Они идут к любимой лунке как на свидание — с волнением, с целым букетом чувств и переживаний. Если кто-то чужой занимает любимую сижку, ревности рыбацкой нет предела. Если уловистая добрая луночка потерялась под снегом после метели, горю рыбацкого сердца нет конца. И начинаются извечные оправдания и рефлексии: если бы мне вернуть мою луночку, если бы мое место не заняли, если бы поставил вчера вешки...

А случается, из-за лунок целые драмы разыгрываются. Жили-были два соседа, ну совсем как наши Шуба и Генерал-майор. Только в деревне, близ прекрасной глубокой протоки. Само собой — заядлые рыболовы. Осень выдалась ранняя, и вот уже в начале ноября протока встала. Этого мгновения миллионы людей ждут с замиранием

сердца. Перволёдые — праздник великий. Когда просыпаешься первым в сезоне по-настоящему морозным утром, сразу чувствуешь нутром, улавливаешь сердцем главную новость — волжские заливы и степные озера встали. Ну и отправились наши друзья на ловлю, тихонечко пробрались по тончайшему — зоркому, как его называют в народе, — ледку к уловистому месту. Пробыли луночки топориками, и пошел клев. У одного друга что ни окунь — то полукилограммовик. У другого — матросик. Все места проверил — везде мелочь. На следующий день неудачливый сосед решил в одиночку попытаться счастья на лунке товарища. Нашел ее, ледок, схватившийся за ночь, снял шумовкой. Поднял со дна первого горбача, второго. Тут идет сосед. «Ты что это удумал! — кричит. — Моя лунка, моя!» Подбежал к соседу, а лед-то тонюсенький, двоих не выдержал. И провалились они оба под лед. Хорошо, недалече от берега были, выбрались. На следующий день решили опять пойти за окунями вместе, а в луночке заветной ловить попеременно. Пришли на берег, глядь — а льда-то и вовсе нет, чистая вода, унесло их льдинку. Постояли, посмеялись и пошли домой. «Делить-то нечего было!»

Настоящий зимний рыбак, даже самый отчаянный матерщинник и хулигатель всего и всех, никогда не назовет лунку «дыркой», «дырой». Никогда не скажет о ней матерно. Нет, только нежно, только любовно. О чем и о ком угодно с матерком — но только не о своей лунке. Помню, мне, по преподавательской службе, нужно было переезжать всякий раз мост через Волгу. Переезжал — утром, возвращался — вечером. Утром едешь, забот полно, то не сделал, это не успел, к проверке не подготовился. Так едешь, а сам, как бы нехотя, как бы через силу, в окошко автобуса поглядываешь: как там рыбаки-то, где кучкуются? Ага, сегодня под Коровьим островом. Это они, вернее всего, окуней гоняют. А это судачники, отчаянные головы, по фарватеру бродят. А там вот, за Бочкой, близ Зеленого острова, сорожатники засели в палатках. Никуда не денешь такие мысли, если в тебе они, если с детства ты любишь Волгу. И вот, на обратном пути, каждый день видел я человека, садившегося в транспорт у моста, в ватных брюках, в полушубке, но без снастей и пешни. По нему видно было, что приходил он с Волги, даже загар зимний на лице его оставался — значит, ходил по льду далеко. Я не выдержал, полюбопытствовал. Оказалось, мужик лежит в больнице, с психикой у него что-то, переутомление и все такое, а на Волгу он, по совету врачей, ходит посмотреть на свою любимую лунку. Его спросили: «Что вас успокаивает больше всего, что вам больше всего нравится в жизни?» Он отвечал: «Лунка». И ему посоветовали ходить к луночке, лечить нервы. Понимаете, не на рыбалку, не за рыбой, не за азартом. Нет. За успокоением. За лекарством. За исцелением.

Да уж, все зимние рыболовы в большей или меньшей степени с приветом, не спорю. И я тоже. Но знаете, то хороший, добрый привет. Есть в этой странной привязанности ко льду что-то очень детское, трогательное. Обычный горожанин, он остается, замкнувшись в скорлупе

домашних стен, со своей микровойной один на один. А рыболов-зимник остается один на один со своим микромиром. То есть с лункой.

...Шуба снова размашисто подсекает. На этот раз он тащит рыбу молча. И только когда на примятом снежку трепещет пойманная сорога, хорошая, с оранжевыми перьями, вся как будто бы вылитая из живого серебра, он радостно выдыхает: «Одна есть!» И в ту же секунду, слева и справа, раздаются веселые возгласы: «Сорожка! И у меня сороженка! И у меня!»

И Генерал-майор тоже бросает очередную рыбину в ведро и приговаривает себе под нос: «Лунка-то у меня сорожья, волшебная луночка-то». А одну маленькую плотвичку оставляет зачем-то старик у лунки, принакрыв снегом. Зачем? Но мне не до раздумий. Мой поплавочек тоже шевельнулся раз, другой. И вместе с ним тронулось и у меня что-то в сердце. А потом он всплыл к поверхности лунки, и я подсек, и на леске-волоске заупиралась, заходила кругами желанная рыба. Это она, конечно, волжская зеленоостровская сорожка! Поймать такую — что вершину взять, что поэму сочинить, что симфонию. Сорога капризна, сорога не терпит дилетантства, но если уж возьмешь несколько серебряных зимних сорожек, то никогда того не забудешь.

И папа тоже — наконец-то — замечает там, в глубокой прозрачной воде, там, в летнем своем иллюминаторе, чуткое движение шарика. И подсекает. И подсечка-тростиночка сгибается в дугу. И начинается вываживание плотвы. У отца — самая яркая, самая крупная, самая красивая! Еще бы — на шарик ведь!

— А хорошее нам местечко Виталья подсказал, — радуется по-детски отец. — Где еще такую сорогу зимой надыбаешь.

Со стороны картина выглядит жутко глупой. Здоровые мужики и почтенные старики склонились над волжским льдом. Не чувствуя ни ветра, ни снега, ни холода, они исполняют какой-то не понятный никому обряд, поднимая со дна реки небольших рыбок. И при этом остаются преисполненными чувства гордости — сидим мы здесь, мол, не просто так, не абы зачем проводим время, сторожим сорожку! Дело благородное, дело важное. До шуток ли — караулим сорожью поклевку. Ушли из дома затемно, придем явно уж не по свету, улов будет жалок (пять штук, кажется, собирался поймать Шуба?), и все же этот день зачтется каждому в особый запасной календарик: сколько там нужно прибавить к жизни? Хоть пару лет, хоть тройку — все в дело! Не просто рыбалка — мировоззрение!

Кстати, о Генерал-майоре. Он никогда не был ни тем, ни другим, он прошел всю войну рядовым, а о Победе узнал в госпитале, очнувшись в июне сорок пятого после тяжелого ранения. На всю жизнь лицо его осталось разрезанным глубоким шрамом. Кривой, одним словом.

Он не любил вспоминать о войне, вместо парадов ходил всегда на рыбалку, но если уж рассказывал, то так вот, коротко, отрывисто, почти ворчливо:

— Ну что ты заладил — как было, как? Ну, бежал вместе со всеми, рядом Сашок, друг мой боевой, Берлин был рядом, как вон те домики на другой стороне залива, из автомата давали очереди вслепую. Мы стреляли, в нас стреляли... Кто-то кричал и падал... Вдруг вспышка белая прямо перед глазами, как будто на яблоню цветущую налетел с размаху. Просыпаюсь — медсестра, белые стены, госпиталь. И вижу все слишком близко, будто в бинокль, а один окуляр чем-то застило. Я ей: «Сашка жив? Сколько я часов здесь?» Она мне: «Тише, тише... Ты уж месяц здесь. О Сашке не знаю. Руки-ноги твои целы. Всего-то лишь глаз повредил, повезло с такой-то раной. Счастливчик!» Я: «А Берлин взяли?» Она: «Война давно уж кончилась!» И я тогда одним глазом своим — другой-то забинтован был — заплакал... Знаешь, что главное? Ни хрена ты не знаешь! Чтоб этого никогда больше не было! Никогда и нигде!.. Понял?

...Быстро уходит неверный декабрьский свет. Быстро пустеет зеленоостровский залив, торопко собираются рыболовы. Не отстаем от наших зимних побратимов и мы с отцом. Все, шабаш, пора домой, путь обратный неблизок. Вернуть бы свои утренние следки.

Около оставленных лунок прыгают синички, находящие здесь роскошное лакомство — замороженных рубиновых мотылей, золотые песчинки пшена, пушинки рогаза.

А еще чуть позже, когда совсем спустятся на лед спешные декабрьские сумерки, из островных тростников выйдет, озираясь, лисичка. У нее тоже есть близ Зеленого острова своя любимая — волшебная — луночка.

Часть 5. С МАМОЙ И ПАПОЙ

В жару

Жара жару рознь. В городской толчее, среди машин и бессмысленных шумов, только и остается тебе, что обессиленно вытереть пот со лба. Никаких сил на такое пекло не хватит. И дома не спасешься. Дышать нечем. Зато у воды, у большой воды, — дело другое. Как ни печет, а ветерок от кучевого облака освежает, а легкая летняя волна радостно посверкивает, а руки так и тянутся к удочке.

На Зеленом-Беклемишевском жары стояли грандиозные. В разгаре июля песок на волжских косах раскалялся уже к десяти утра так, что и не ступишь босиком-то. А все равно — люди тянулись на остров, прибывали сюда целыми семьями. Всегда найдется тенок, где можно, потеснив муравьиное общество, расположиться с удобством. Если проявить смекалку и ввинтить пару бутылок лимонаду, сделав пять-шесть шагов от берега, в донный волжский песочек, где начинается глубинка и где быстрая вода свежее, то через каких-нибудь полчаса станешь счастливым обладателем прохладного напитка.

Купание на зеленоостровских естественных пляжах — история особая. Песок — чистейший, ступить на него одно удовольствие, он целебен для ног, он как бы шлифует ваши ступни, дарит сердцу покой и радость. Вода прозрачная. Заходишь по грудь, а на дне каждую песчинку различаешь, каждого голавлика видишь прекрасно. И чувствуешь легкое покачивание, и хочешь, чтобы это ощущение продолжалось как можно дольше.

Отец не очень любил все это «баловство» с купаниями, сурово поглядывая на меня, если я решал немного побыть в воде. «Хватит барахтаться, — махал он нетерпеливо с берега рукой, — окунулся и вылезай!»

Лодки у нас тогда еще не имелось, зеленоостровская рыбацкая Мекка еще не была выстроена, и мы скитались, можно сказать бомжевали, по берегам. А у береговиков жизнь сложная, от многих обстоятельств зависящая. От каких? От уровня воды, направления ветра, количества людей на берегу, погоды, карты глубин близ берега... Да много от чего. Попробуй налови рыбы, если целый город переправляется на Зеленый отдыхать, загорать и купаться!

Только подкормишь точку, подманишь со стрежня осторожных плотву и подлещика, увидишь пару-тройку хороших мягких поклевков, когда поплавок, обтекаемый течением, плавно уходит под воду или аккуратно, потихонечку ложится. Только раззадоришься, почувствуешь Волгу, шепчешься с водой, найдешь с ней контакт, а тут уже к твоему поплавку плывет, совершенно бесцеремонно, какая-то дама в шляпе и отфыркивается. Оглядишься — вся песчаная коса людьми пестрит! И всех в воду, в воду тянет. Ну, ясное дело, надо менять место, перебираться туда, где меньше народу, в царство коряг, под обрывистые берега, в труднодоступные чащи, пронизанные комариным гудом.

Иные, правда, никуда не перебирались. Упрощали себе жизнь. Просто заходили в воду по пояс, пристраивали садок и ловили вразбродку. Нам с отцом не подходил подобный способ — солнце очень уж пекло, тени то на открытой воде не найти. А когда еще кучевые громады к солнцу подберутся — неведомо. И мы искали береговые укромные местечки, спрятанные от лишних глаз.

Самым дальним и самым лучшим местом была протока со странным названием — Девятка. Если есть у тебя силы идти по песку до любимого Маринино места — Старого моста, то и до Девятки доберешься. Поближе к тишине и рыбе, подальше от людей.

Кстати, вот какое обстоятельство запомнилось. Прибывая на Зеленый семьями, люди прихватывали с собой разнообразные припасы, чтобы можно было не только накупаться, но покушать в тенечке как следует. Главная зеленоостровская еда этого летнего времени — самодельная икра из баклажанов. Из «синеньких», как говорили коренные горожане. Икра делалась едва ли не в промышленных масштабах, набивалась в банки, к ней обязательно полагался душистый пеклеванный хлеб. Помимо «синеньких», обжаренных в щедро налитом

на раскаленную сковороду масле, добавлялась в нее морковь, при-
совокуплялся лук, все это поливалось соком пары-тройки свежих
помидорин, тушилось, парилось, булькало и клокотало. И под конец
тихонечко томилось — доходило. Кто любил — присыпал зеленью
и мелко нарубленным, а лучше раздавленным молодым чесночком.
Плюс соль, сахар, черный перец... На весь Зеленый разносился аромат
этого специфического кушанья.

С ужасом и внутренним негодованием смотрел отец, когда мы
возвращались к дебаркадеру после трудной, потозатратной береговой
июльской рыбалки, как под каждым кустом черпается баклажанная до-
машняя икра большими ложками из пузатых стеклянных банок и густо
намазывается на хлебные ломти, а затем жадно поедается и запивается
остуженным на волжском дне лимонадом.

Вот молодежь врубила на всю катушку «музыку», от которой
оглохли все лягушки в близлежащих озерах и болотах. Вот слегка
закосевшая компания азартно режется в карты. А вот и целая семья
собралась обедать.

— Сережа, ты слишком долго купаешься, мой хороший, посинел
до макушки! Вылезай! — зовет какого-то действительно закулавшегося
до цыпок мальчика его мамаша.

— Подожди, мама, я тут рыбку увидел. Сейчас сачком ее накрою...

— Вот поешь как следует, согреешься и накроешь. Твоя рыбка ни-
куда не денется. Она тебя подождет. У нее тоже сейчас обед.

— Ну ма-а-а-м... — противно тянет мальчик.

— Никаких «мам». Или сейчас же домой! — вмешивается в вос-
питание сына глава семейства.

И Сережа плетется к родителям, держа в посиневшей руке сачок,
каким ловят разве только бабочек.

«Тьфу!» — едва удерживался от грубоватого словца отец, измеряя
меня строго взглядом, как будто решая, способен ли я докатиться до та-
кого обывательского безобразия когда-нибудь или все-таки нет.

Потом, через годы, когда путь на Зеленый будет заказан, потому
что настанут иные времена и родное станет чужим, когда опустеют
зеленоостровские песчаные косы, когда и следа не останется от де-
баркадера и лишь в памяти снова и снова будет пришвартовываться
к Зеленому баржа, папа вспомнит те летние деньки с улыбкой и свет-
лой грустью. «А помнишь, — скажет он мне который уж раз, — весь
город собирался по выходным на Зеленом, но места всем хватало.
И как икру все с собой притаскивали, и огурчики малосольные,
и пеклеванный хлеб. И лимонад в песке студили... Что ни говори,
а это было здорово. Баржа ходила через каждые два часа, а? А в вы-
ходные — и того чаще... Помнишь, мы на протоку, на Девятку, в жару
майскую с тобой и Нэлей потащились, а потом еле на последний рейс
поспели? Помнишь?»

Как же не помнить.

Но сначала расскажу про колышки.

Про колышки и про дрюк

Не знаю, может быть я и не прав, даже вернее всего не прав, но мне захотелось рассказать вам про колышки. Ведь если нет настоящего колышка у тебя в чехле, то и ни о какой доброй рыболовной вылазке речи быть не может. Колышек, рогулька, развилина, рассоха — слова-то какие замечательные. А как подойдешь к бережочку, как установишь со всей основательностью колышки для удочек — на сердце хорошо делается, дышаться легче начинает.

Одно дело, знаете ли, весь день махать удочкой, не выпуская ее из рук, и совсем другое — раздумчиво наблюдать за поплавочком, удобно примостив удилище на колышки, или рогульки. Или на подставки — кому как нравится.

Мне по душе — колышки. Поэзия, не слово!

Но в зеленоостровскую пору нашей жизни имелся у нас с отцом не ольховый, нет, не осокоревый и даже не дубовый колышек. А, представьте себе, чугунный. И никакой вам поэзии, и никакой красоты особенной. Просто массивный чугунный кол, загнутый вверху. Мы его случайно, на косе нашли. Помню, рыбалка не задалась с самого начала в тот день, все больше баклешка да густерёшка мелкая попадались, да еще ветер низовой разошелся с белым злым нахлестом — сиверко. Ну мы рыбалку и свернули. Идем по косе к дебаркадеру, глядим, старик какой-то незнакомый тоже домой собирается, удочки мотает. Отец ко всем разговор имел, закурили, разговорились.

— Да вот, пяточек язей поймал, хватит, пойду до дома, — то ли пошутил, то ли что-то напутал старый рыболов. Какие язи в такой день, когда все вокруг — с рывка.

Однако достал садок, прикрученный к дрыну чугунному, а в садке и правда — язиные плавники малиновые огнем горят!

Я — отцу:

— Давай посидим пару часиков на его месте, может — тоже поймаем?

А отец не соглашается:

— Домой надо, устали, завтра в школу тебе, мне в редакцию...

Пока совещались мы, старого рыболова и след простыл. Только что был перед нами в зеленом плаще и серой кепочке — и нет. И куда он только мог пойти? К дебаркадеру дорога одна, вдоль косы. Может, местный? Может, живет тут где-то, в островной чащобе? И самое главное — дрын его чугунный в воде остался.

Отец подумал-подумал, вытащил чугунную эту штуковину из песка и бросил в наш чехол с удочками.

— Хорошая штука, — только сказал. — А если старика увидим — вернем. Все равно в следующий раз сюда, на язя с тобой придем. Так ведь?

— Так, — отвечаю.

А сейчас думаю — того старичка часом не Бреднем ли звали?

В ближний выходной являемся на ту же косу. Рыбаков полно, а его, в плаще и серой кепочке, нет среди них. Ну отец первым делом чугунный колышек в песке обустряивает. А дрын-то не вворачивается. Что

такое? Песок же! Любая тростиночка в него входить должна. А дрын не вворачивается.

Чуть правее отец взял, чуть левее, еще на несколько метров вдоль берега прошел и — раз! Чугунная рогулька закрепилась. Принял ее зеленоостровский песочек.

Примостил папа длинную свою удочку, с надсадкой, на чугунную загогулину, присел на стульчик, и не успел закурить, как поплавок его в волнах скрылся. Подождал — отец всегда выжидал пару секунд, прежде чем подсекать, — не выныривает. Подсек — а на крючке голавль! Просто красавец! Та рыбалка сложилась прекрасно, и с того самого дня поверил папа, что чугунный колышек рыбное место указывает. Правда, мама, выслушав всю эту историю, заметила не без едкости: «Это не дрын. Это дрюк».

Так и стали мы звать меж собой папину чудесную находку — дрюк. «Сегодня дрюк точно рыбное место указал». «Если дрюк дома забудем, на рыбалку и ехать нечего, хоть возвращайся». «Погода так испортилась, что даже с дрюком едва на ушечку набрали...»

Понимаете, мы всей рыбацкой нашей семьей поверили в чудодейственную силу дрюка.

Дрюк был тяжелым, постоянно норовил продырявить чехол и воткнуться в ногу какого-нибудь пассажира, а хуже того, пассажиры в троллейбусе или на барже; к тому же имел он обыкновение, если рыбалка шла в заливах, собирать на себя целые космы ила и травы, которые практически невозможно было отчистить, отмыть. И мы сами с папой постепенно стали пропахивать донной тиной. Но эхолотовую свою работу выполнял он исправно. Там, где не желал дрюк втыкаться в дно, не стоило и забрасывать, но там, где плавно входил он в речной грунт или песок, удача ждала почти неизменно.

Отец буквально влюбился в эту штуковину, никогда не выходил без нее на рыбалку, дважды возвращался из города, забыв дрюк воткнутым в тину. И все-таки однажды потерял его.

Ловили по весенней полной воде, прибывающей на глазах, дрюк от течения был накренен — и вдруг просто исчез в воде. Отец и кошкой пытался достать его, и в воду ледяную пару раз залез — да только все тщетно. Нет дрюка, как и не было его никогда.

— Ну и ладно! — в сердцах махал рукой папа. — Ольховые или осокоревые колышки куда лучше. Легкие, из живого материала...

Но в глазах его все равно проскальзывала грусть.

И только мама смогла по-настоящему утешить отца.

— Володя, — ласково сказала она, когда папа жалел о голавлях и язях, которых не поймать больше без волшебного дрюка. — Володя, вот вы с Ваней завтра на Зеленый поплывете и без всякого дрюка поймаете чудесную рыбку.

Папа лишь грустно улыбнулся.

— Вот увидишь — чудесную!

Так и случилось.

И рыбиной этой оказался сазан. Не очень уж большой, не гигантский, но приличный сазанчик, увесистый.

И такой красивый...

Больше папа никогда не вспоминал об удачливом своем дрюке.

Дойти до глубины

Отец и мать любили Зеленый остров. Они бывали здесь еще задолго до моего рождения. И помнили его еще другим — помоложе.

А я любил, если на рыбалку с нами отправлялась и мама. С мамой и папой — самые счастливые рыбалки.

Случалось подобное редко, но все же порой, особенно в начале лета, в просторном июне, или в середине мая, пока еще можно услышать в островных чащобах соловья и кукушку, мать оставляла домашние дела, откладывала подготовку к бесконечным своим медицинским лекциям и собиралась на остров.

Когда с мамой — все по-другому.

На причал, на тот самый знаменитый шестой причал, откуда отправлялись на Зеленый ОМы и баржи, мы приходили загодя, не торопясь. Было время постоять, оглядеться, подышать утренней Волгой, а не прыгать в последнюю секунду на палубу, когда уже трап убрали. На барже мама умела выбрать самое удобное местечко. Казалось бы, все они одинаковые, скамейки и скамейки, но нет: на одной — ерзаешь, на другой — отдыхаешь, на одной — солнце глаза слепит, на другой — затылок щекочет.

Мама всегда брала в дорогу припасы: вкусные бутерброды, чай с лимоном в термосе, яблочки, конфетки. Отец к подобным «нежностям», кроме чая, относился скептически, особенно грозно посматривал на меня, если я разворачивал конфетный фантик. «Эх ты, — как бы говорил он безмолвно, — а еще рыбак, это ж суровое дело, рыбалка-то, черный хлеб промысла, а не прогулка какая...» Правда, вслух ничего такого не высказывалось — отец старался маму не расстраивать, не портить легкого утреннего настроения. Когда еще выберемся все вместе на Волгу?

Мама любила платье с васильками, чаще всего в жаркую пору надевала его, собираясь с нами в маленькое волжское путешествие.

А путешествие на Зеленый начиналось еще задолго до отплытия от причала. Сама дорога на причал являла собой некий сложившийся не за один год церемониал.

Первая баржа отправлялась летом в шесть тридцать утра. Это рано. Очень рано, если учесть особенно, что накануне, в субботу, мама обычно работала и возвращалась домой поздно. Но если не попасть на шестичасовой рейс, то придется довольствоваться семичасовым. Целый час будет потерян, прохладная, самая волнующая часть утра уйдет безвозвратно, растворится в синеватом июньском мареве. Вот и довольствуйся полуутром-полуднём. Пока доберемся до места, пока расположимся — и до десяти недалеко. Жара, пекло, упущенное утро.

Какая уж там рыбалка! Какие уж там соловьи! Поэтому договаривались сразу: успеваем на первый рейс!

Сначала остановка троллейбусная. Людей случайных тут нет — дачники, рыбаки, странники. И все вглядываются нетерпеливо в дальнюю точку дороги: оттуда должен показаться вот-вот троллейбус — самый первый транспорт в такое раннее время. Троллейбус был синим, и когда он приближался, то мне казалось, что частица Волги приближается к городской остановке. Смотришь на часы — десять минут седьмого, успеть должны минута в минуту!

Дальше — постоянный наш маршрут, о котором я уж говорил. Соборная площадь, Троицкий, лесенка, заросшая со всех сторон цветущим шиповником... Реки еще не видать, но здесь, на спуске, ощутимо ее прохладное, живое дыхание.

О лесенке два слова. Мама с папой особенно почему-то ее любили, всегда останавливались на ней, даже если до отплытия оставались минуты. Тут уже я внутренне негодовал: вот-вот баржа уйдет, вот-вот утро волшебное упущено будет, сороги не наловим, ухи не сварим, а они остановились, и друг дружке улыбаются, и на меня лукаво так смотрят. Отец на меня так смотрел, только когда бывал вместе с мамой. И мама осторожно — не уколоться бы! — тянет к себе отягченную шмелиным гудом ветку шиповника, чтобы вдохнуть его раннюю свежесть, и папа, с тяжеленным рюкзаком за плечами, помогает маме добраться до самого нежного соцветия, и они вместе, закрыв глаза, делают один вдох, второй, третий. И снова лукаво на меня смотрят...

— Лесенка? — спрашивает мама.

— Лесенка! — отвечает отец.

Свидание у них тут, что ли, когда-то было назначено? Тоже мне, блин, романтики!

Раздумывать некогда. Через каких-то пару секунд мы уже мчимся всей семьей к причалу. И у каждого из нас при этом своя задача: папа успевает взять у знакомого киоскера пару свежих газет, чтоб читать на барже и чтобы потом дома чистить на них рыбу, мама просит не убирать еще минутку трап, я несусь к билетному киоску, разживаюсь двумя взрослыми и одним детским и в мгновение волжского ока оказываюсь у шестого пирса.

— Ну что, успели? — улыбается повелитель баржи, давая долгий мощный гудок. И добавляет уже иным, сосредоточенным голосом: — Отдать швартовы!

В этот раз степенно подышать утренней Волгой не получилось — а всё шиповниковая лестница! Но теперь можно выдохнуть. Теперь и правда — успели.

Мама радуется всему: белокрылой аккуратненькой чайке, красному бакену, свежей синей водичке. Всякий раз здороваётся с мостом, когда баржа проходит под ним. Машет рукой какому-нибудь просмоленному рыбаку в резиновой лодке. Всё для нее здесь в радость, всему она улыбается. Детство мамы прошло в поселке Рассуха, среди аукающих

березовых перелесков, где не было большой воды. Ее отец вернулся с войны смертельно раненным, а мать, моя баба Маша, руководила железнодорожной станцией, уберегала составы от бомбежки. Единственное озерцо в Рассухе было совсем маленьким, с удочкой на его берег приходил единственный на весь поселок рыболов — старый-старый дед Прохор. Он целые утра проводил на берегу, склонившись над поплавком. Если ловил круглых, как бронзовая монетка, карасиков, то обязательно делился с маминой семьей. «Сладкие-пресладкие», — вспоминала обычно мама, и в ее глазах проблескивала слеза.

Не забывая про крошечное озерцо из своего детства, на Волгу мама смотрела как на чудо — с удивлением. А еще с почтительным вниманием.

— Гляди, мам, — показываю я на далекий залив, спеша похвалиться, — во-о-он там мы с папой зимой сорогу крупную ловили, помнишь, тебе еще она жареная понравилась?

— Это вы так далеко по Волге ходили? — Мама смотрит на меня чуть испуганно. — Если бы я знала, то не пустила бы...

А потом на отца переводит взгляд — укоризненный.

А отец оборачивается ко мне и глядит — без восхищения, если смягченно выразиться.

«Доболтался, — так и читается в его разочарованном прищуре, — добахвалился, дошуршался фантиками конфетными! Теперь про Бочку забудь в зимние каникулы, не пустят нас с тобой за сорогой на Зеленый остров...»

Но мама, кажется, уже сама забыла о своем мимоходном недовольстве. Слишком уж светло вокруг было, слишком радостно.

Самое большее через полчаса мы ужеходим по трапу на золотой островной песочек, а шкипер Алексей приветствует нас специально подготовленным ради такого случая восклицанием: «Вас приветствует Зеленый остров! Семейный отдых у нас поощряется!»

У каждого — своя поклажа. Мама несет сумку с едой и одеждой. Отец сгибается под извечным своим рюкзаком на широченных лямках, а на мне — чехол с удочками. На мне — едва ли не в прямом смысле. Я взгромождаю чехол на плечо и придерживаю его снизу. Иду, как знаменосец какой-нибудь.

Мама обычно говорит:

— Сегодня жара будет, посидим до двенадцати — и домой. Мне еще к лекциям готовиться, завтра на работу.

Отец обычно отвечает:

— Отлично, только дойдем до протоки у старого моста, ну до Девятки, там тень и рыба хорошая берет.

— Да такая же, как и здесь, рыба. Вот, садитесь с Ваней на косе, а я бивуак устрою.

Мы так и делаем. Начинаем с отцом рыбалку, ловим по две-три рыбешки, а мама тем временем задремывает, уютно расположившись на покрывале в тени какого-нибудь деревца-кустика.

Но прибывает вскоре следующая баржа, и наша свободная песчаная коса поработается отдыхающими. Шум, гам, купание, детские крики,

летающие мячи, закапываемые в прохладный песок бутылки, рев моторок. Выходные! Тут и Бредень ничего не поймает.

— Может, домой? — с робкой надеждой спрашивает мама. — Ушичку сейчас из свеженькой рыбки сварим...

— Да из чего ушичку? — сокрушается отец. — Надо было сразу к Старому мосту идти...

— А мы и сейчас можем туда перебраться, — успокаивающе говорит мама. — И соловьев там послушаем. Только после двух — домой. Мне завтра к восьми...

— Само собой, — радостно соглашается папа.

И мы, собрав в кучу весь наш скарб, топаем к Старому мосту, а дальше — к протоке Девятке, о которой уж говорилось. Далекое это было место, но до чего же красивое. Идешь, идешь по ровному песчаному берегу, сырой песочек тебе в подмогу, и вдруг от Волги отделяется рукав, резко меняя направление. Зеленый вообще уникален в смысле своего расположения, своей картографии. Только кажется, что он посреди Волги возник. От города-то его не Волга отделяет, а глубокая и быстрая река Тарханка, затопленная рукотворным морем. Река, скрытая под рекой! Поэтому и нет зимой постоянной переправы на Зеленый — чуть оттепель, Тарханочка, река подводная, лед разъедает...

На Зеленом — Беклемишевском — острове много скрытого, таинственного, необъяснимого. Вот и Девятка — глубокая, с крутыми берегами протока, на берегах — дубы. В самый жаркий день здесь тенисто и даже зябковато. Девятка не просто соединялась с Волгой, а делала крутой при этом поворот, пересекая саму себя. Очень похоже на цифру девять. И как раз в месте пересечения — самая большая глубина, самые уловистые яры. В разлив Девятка исчезала, сливалась с другими протоками и озерами, заливами и затонами, но как только вода начинала отступать — снова вырисовывалось причудливое ее русло. Островитяне говорили о протоке этой скрытной уважительно: на самой Девятке был, на Девятку собираюсь, осенью со спиннингом за Старый мост ходил, аж до Девятки добрался — вот там щука!

Вот и мы добрались до Девятки.

Мама в очередной раз устраивает бивуак, отбиваясь от комаров. Мы с отцом забрасываем удочки. Ловим по несколько рыбешек — точно таких же невеликих, как и на косе. Обидно! Так далеко шли — и ничего. Пустая какая-то вода, мелковатая. Не то, совсем не то.

И папа не выдерживает:

— Меняем место!

— Как меняем, опять? — возмущается мама. — Я только задремала...

— Нэля, понимаешь, мы до пересечения не дошли, до глубины не добрались. Вон за тем поворотом наше прежнее место.

— Володь, а может, здесь досидим? Здесь столько глубины, что утопиться можно!

— Ну раз уж пришли в такую даль, давай еще один марш-бросок.

И мы идем, а вернее сказать, еле тащимся за поворот, на прежнее место, где глубина.

Мама уже кое-как расстилает покрывало и просто падает на него от усталости, мы с отцом кое-как устанавливаем колышки, забрасываем удочки. И вдруг замечаем, что стоим на ландышах. И наши удочки на ландышах, и рюкзак, и мамин бивуак. Повсюду благородное матовое мерцание. И воздух просто клокочет и булькает от соловьиных лешевых дудок. И наши с отцом поплавки уходят наискось в таинственную глубину, и лещиные бока бликуют-золотятся в живой воде.

— Я же говорил, — ликует отец. — Вот что значит до глубины дойти!

— Ровно до двух — и домой! — напоминает сквозь дрему мама.

...Когда мы спохватываемся, то до последней баржи остается полчаса — не больше. Мама отчитывает отца («Еще один заброс... еще один заброс...») — обидно похоже передразнивает она его), мы с отцом кое-как укладываем садок с трепещущей доброй рыбой, сворачиваем снасти. И — вперед, к дебаркадеру, по волжской кромке, по влажному песочку. Если идти по песку сухому — не успеешь, завязнешь, выдохнешься. А по кромочке бежать — милое дело, совсем другой коленкор.

Успеваем мы еле-еле.

— Как туда, так и сюда, — качает головой мама. — Все у нас в последнюю минуту сегодня.

— Эх, Нэля, ландышей не набрали! — сокрушается отец.

— Да от них голова, Володя, болит. Я и сейчас-то как будто в тумане, — успокаивает его мама. — Ты их лучше дома нарисуешь.

Тетя Люда, как всегда с улыбкой, вкладывает в мою ладонь бирюзовые билетки: два взрослых и один детский.

Шкипер Алексей провозглашает торжественно: «Ждем вас снова всей семьей в следующий выходной!»

Полный капитан дает басовитый долгий гудок.

И мы плывем на огромной зеленоостровской барже-калоше домой — загорелые, усталые, надышавшиеся терпким островным воздухом, оглушенные соловьями, опьяненные ландышами. Плывем, беседуем, допиваем лимонный чай. И вечернее солнце тоже потихонечку скатывается в Волгу, будто захотелось ему сделать пару глотков прохладной волжской воды после жаркого дня.

Отцовские ландыши — нежнейшая акварель — до сих пор хранят в себе мраморное свечение. Отца ведь вдохновила на эту акварель мама. Как и на то, чтобы выудить прекрасного сазана.

— До свидания, дебаркадер! — устало машет она рукой. — До свидания!..

* * *

Ну и нарасказывал. Было хорошо — стало плохо. Да что ж это я, совсем осудачёл? Было хреновенько, стало хреноватее — лучше уж так выразиться, в духе дяди Гриши. К чему держаться за прошлое? Расстроилось, выгорело-истлело до фильтра, оборвалось якорьком. Пусть и остается на доньшке... Правда ведь, милая? Нужно глядеть вперед,

только вперед, и тогда придут они после долгих свинцовых зим — светлые весточки, вольные весны завтрашнего дня.

...Но все же иногда он почему-то и для чего-то снится мне, наш полузабытый-полунезабвенный путь к островным беклемишевским владениям. Сначала ранний троллейбус, потом Соборная площадь и церковь, потом узенькая лестница, хранимая цветущим шиповником и хранящая какое-то юное чистое воспоминание.

Помню, конечно помню...

Мы встречаемся с отцом и мамой у шестого причала, и я думаю во сне, какое же красивое у мамы имя — Нэля и какое замечательное у нее васильковое платье. Мы заходим по трапу на баржу и чувствуем ее живое тепло, ее мерное дыхание. И плывем мимо красного бакена, и переглядываемся с белыми чайками. И откуда-то очень издалека приближаемся к домику на воде — дебаркадеру, узнаем знакомые силуэты шкиперов, видим обращенные к воде окошки и различаем ставшую уже родной надпись: «ЗЕЛЕНый ОСТРОВ».

— Эх, сколь народу-то притащилось! Тудыть вас растудыть в воложку!..

